

# 100 главных книг



## ПУТЕШЕСТВИЕ ДИЛЕТАНТОВ

БУЛАТ ОКУДЖАВА

**Булат Шалвович Окуджава**  
**Путешествие дилетантов**  
Серия «100 главных книг (Эксмо)»

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=157291](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=157291)*

*Путешествие дилетантов: Э; Москва; 2016*  
*ISBN 978-5-699-87181-0, 978-5-699-87191-9, 978-5-699-87095-0*

**Аннотация**

«Путешествие дилетантов» – один из самых популярных романов Булата Шалвовича Окуджавы (1924–1997), поэта, писателя, барда, песни которого поет вся страна. Историческим романом «Путешествие дилетантов», пронизанным аллюзиями с современностью, утверждающим честь и достоинство главными ценностями человека в любую эпоху, зачитывалось не одно поколение. И теперь, по прошествии лет, роман Булата Окуджавы читают с таким же увлечением.

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Книга первая                      | 5  |
| 1                                 | 5  |
| 2                                 | 6  |
| 3                                 | 7  |
| 4                                 | 8  |
| 5                                 | 11 |
| 6                                 | 14 |
| 7                                 | 15 |
| 8                                 | 16 |
| 9                                 | 20 |
| 10                                | 23 |
| 11                                | 25 |
| 12                                | 27 |
| 13                                | 29 |
| 14                                | 31 |
| 15                                | 36 |
| 16                                | 38 |
| 17                                | 39 |
| 18                                | 41 |
| 19                                | 46 |
| 20                                | 54 |
| 21                                | 57 |
| 22                                | 62 |
| 23                                | 71 |
| 24                                | 81 |
| 25                                | 86 |
| 26                                | 89 |
| 27                                | 90 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 94 |

# Булат Окуджава

## Путешествие дилетантов

© Окуджава Б. Ш., наследники, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

\* \* \*

*Оле*

*...Ибо природа, заставив все другие живые существа  
наклоняться к земле, чтобы принимать пищу, одного только человека  
подняла и побудила его смотреть на небо...*

*Марк Тулий Цицерон*

*...Когда двигаетесь, старайтесь никого не толкнуть.  
Правила хорошего тона*

## Книга первая

### 1

Я присутствовал на поединке в качестве секунданта князя Мятлева. Князь стрелялся с неким конногвардейцем, человеком вздорным и пустым. Не буду сейчас рассказывать, что именно побудило их взяться за пистолеты; время этому придет. Во всяком случае причиной была сущая безделица, да и дуэли, как говорится, давно отшумели и вышли из моды, и поэтому все происходящее напоминало игру и не могло не вызывать улыбки.

Конногвардеец пыжился и взглядывал угрожающе, так что мне на минуту даже стало как-то не по себе при мысли, что пистолеты заряжены и этот индюк возьмет да и грянет взаправду. Однако оба пистолета грянули в осеннее небо, и поединок закончился. Соперники протянули друг другу руки. При этом конногвардеец глядел все так же грозно, а князь попытался улыбнуться, скривил губы и густо покраснел.

Пора было расходиться. В этом пустынном месте, как ни было оно пустынно, все же могли появиться посторонние люди, а так как им всегда до всего есть дело, то встреча с ними не сулила ничего хорошего.

Стояла трогательная тишина позднего октябрьского утра. Минувший поединок казался пустой фантазией.

Мы уселись, кучер тронул лошадей, и коляска медленно и бесшумно покатила по желтой траве.

## 2

Мы были знакомы уже много лет, с десятков, пожалуй, или даже поболее, точнее, с того злополучного года, когда в кавказском поединке от пули недавнего товарища по какому-то там недоразумению пал молодой, но уже знаменитый поэт.

Князь Мятлев был секундантом у одного из них, у кого точно, не берусь утверждать, но эта трагедия как-то сразу его надломила. Рассказывали, что до того происшествия он был повесой, и дуэлянтом, и сорвиголовой, но мне он достался уже другим. То есть не то чтобы желание пошуметь, попроказить охладело в нем совершенно, но оно было уже не постоянным, как когда-то, а лишь изредка в нем вспыхивало и скорее напоминало агонию юности.

О погибшем поэте князь говорить избегал, даже почти не упоминал его имени, а ежели кто по неведению все-таки лез со своими домыслами и соболезнованиями, я видел, как друг мой страдает. Поэтому и я не стану называть имя несчастного, памятуя о молчаливом сговоре между мной и князем.

### 3

...Наша коляска медленно приближалась к Петербургу. Мы молчали. Нынче князю было уже тридцать пять. Молодость давно миновала, да и все с нею связанное отлетело прочь. Как говорится, румянец сошел со щек и звонкий смех угас. В молодости он казался красивым, хотя и сейчас была еще немалая толпа былых его почитателей, вернее даже почитательниц, не отступающих от своих восторгов. Он был выше среднего роста, чуть повыше, не широк в плечах, с лицом, вытянутым несколько, теперь уже украшенным очками, из-под которых глядела его недоумевающая душа. Темно-каштановые кудри слегка поредали, поблекли.

Я любил его, жалел, восхищался им и страдал за него.

В молодости его вы им увлекались, а к тридцати годам позабыли. А для меня он тут-то и расцвел.

## 4

...Наконец мы въехали в пыльные окраины Петербурга, и двухэтажные строения обступили нас. Я снова глянул на князя. Он сидел все так же неподвижно. Я вспомнил его на дымчатом утреннем лугу с нелепым пистолетом в руке: черный сюртук, серые панталоны, галстук почему-то в левой руке, воротник белой сорочки распахнут, в неподвижной фигуре что-то стремительное, изящное, сильное, хотя рука вскидывает пистолет лениво, губы кажутся тонкими и сухими. Теперь же он сидел сторбившись, так и не повязав галстук, держа его по-прежнему в кулаке.

Колеса экипажа коснулись первых торцов. Руки князя покоились на коленях. Узкие запястья, длинные пальцы, перстень с изумрудом неправильной формы – память о минувших днях. Князь особенно дорожил этим перстнем, всегда о нем помнил и в минуты раздумий или душевного смятения внимательно его разглядывал. На камне имелось маленькое рыжеватое пятнышко: то ли вкрапление железа, то ли след древнего существа. Мятлев говорил мне, что за многие годы научился различать в пятнышке некие особые замысловатые очертания, и утверждал, что они подвержены переменам в зависимости от времени года и еще от чего-то, кажется, даже от состояния духа. Он называл его Валерик в память о знаменитом месте нашей печальной славы и о человеке, который надел этот перстень Мятлеву на палец. Там, у реки Валерик, в группе охотников князь совершил вылазку. Предприятие было удачным, но в последнюю минуту горская пуля все-таки его достала. В тяжелом состоянии, без надежд вынесли его на наш берег. Долгое время жизнь князя висела на волоске. Но упал он на прибрежные камни уже обладателем этого перстня, который перед вылазкой вручил ему старик Распевин – солдат линейного батальона. Бедный старик с отвислыми усами на худом лице! Особые обстоятельства вынудили его проситься в группу охотников, ибо от успеха предприятия зависела для него жизнь. В прошлом блистательный поручик, умница, человек широкой души и самых благородных нравов, полный радужных надежд, поддавшись велению сердца и человеческого долга, вышел на отважный поединок со злом, был повержен, сломлен, лишен всяких прав и вместе с соучастниками закован в цепи. Его противники позаботились о нем. Они даровали ему жизнь, то есть возможность физического существования, тем самым усугубив его пытку. Бог весть сколько железной руды выгреб он из сибирской земли, из этой нескончаемой кладовой наших богатств и печали, куда наконец к нему не снизошли. Его перевели на Кавказ в действующие войска солдатом, но до первого отличия в деле. Когда перед охотниками открылся Валерик, мысль о смерти не возникала у него. Напротив, он просто бредил удачей и скорейшим возвращением в прежнее свое качество. Но судьба тайно делала свое дело. Это она заставила его с радостной поспешностью одаривать своих друзей всякими милыми мелочами, будто бы в память о их совместной удаче, а вышло – в память о нем самом, ибо он был убит в самом начале дела. Вечный *persiflage*<sup>1</sup>.

...Мы сделали небольшой крюк, проехали по Каменноостровскому, затем свернули чуть влево, на Малую Невку. Здесь снова потянулись пригородные особняки, теперь, правда, уже входящие в черту города. Это были роскошные постройки екатерининских времен, когда господствовало согласие богатства и вкуса, русской широты и западной утонченности. Одна за другой проплывали эти прекрасные постройки, свидетельницы недавнего блистательного прошлого столицы, полусокрытые стволами, но все же отчетливо видные сквозь кружева опадающей листвы. И вот наконец из-за поворота показалось прекрасное деревянное сооружение в три этажа с куполом, окруженное высоким кустарником. Поблекшее от времени

<sup>1</sup> Вечная болезнь (*франц.*).

и непогоды, оно все еще поражало строгостью форм и в то же время легкостью и приветливым видом.

Коляска въехала за чугунную ограду и остановилась.

Дом князя Мятлева был знаменит на весь Петербург. Злые языки рассказывали, что в нем со времен Александра Благословенного поселились и проживают привидения. Но это нисколько не снижало репутацию дома, а, наоборот, придавало ему таинственности, что в глубине души многим нравится.

В прохладном вестибюле великолепные копии с античных шедевров окружили нас привычной толпой. Но мы поднялись вверх, хотя они и простирали к нам свои холодные руки. Несколько темных старинных полотен, повешенных бог знает когда, усугубляли полумрак, царивший в этом зале. Обитатели дома здесь обычно не задерживались, и я, посещая князя, тоже привык стремительно взбегать по широкой лестнице вверх, вверх, туда, где в просторной комнате третьего этажа Сергей Мятлев облюбовал себе жилище. Иному из наших сибаритов здесь показалось бы неудобно: широкая тахта, служившая князю одновременно и кроватью; покойные и располагающие к беседе кресла с несколько потертым голландским ситцем, где диковинные тропические птицы упрямо глядели в одну сторону; небольшой столик овальной формы и с восточной инкрустацией; красный рояль с пожелтевшей клавиатурой, вызывающей печальные воспоминания.

Этот рояль появился в доме уже на памяти князя, и тогда же пятилетний мальчик прикоснулся впервые к белой холодной планке, которая внезапно простонала под его пальцами. Мертвый полированный ящик был не так уж мертв. Стоило лишь возбудить его, как в нем тотчас возникала жизнь и ящик превращался в некое трехное, теплое, вздрагивающее от прикосновения, кричащее от боли, ликующее, ухающее, свистящее, то яростно-неукротимое, то вдруг покладистое, как старая собака.

Мальчик придумал такую затею: он осторожно ступает по затихшему дому, запретив гувернеру сопровождать себя. Он подкрадывается к двери гостиной и внезапно распахивает ее. Неведомое, страшное трехное, громадное и молчаливое, неподвижно стоит посреди гостиной, обратив широкую оскаленную морду к окну. Мальчик засовывает руку в пасть животному, и оно ревет басом от ярости и боли, и бледное лицо гувернера, словно луна, повисает в дверях. Мальчик жмурится от страха, но не отступает. Осторожное прикосновение, легкое поглаживание, несколько участливых слов, и чудовище преображается. Оно обвивает своим длинным хвостом шею мальчика, мурлычет, скалит в улыбке громадную многозубую пасть, дрожит от благоговения, попискивает, напевает без слов: «Олѐ-лѐ-лѐ, ле-ле, ли-ля-люли...» Лицо гувернера розовеет и скрывается.

Интерес ребенка был замечен. Игра взрослых усугубила его пристрастие, и вскоре учитель музыки, дрессируя мальчика, выучил его дрессировать трехное. Овладев в весьма короткие сроки нелегким искусством, уже юношей он не раз поражал знакомых меломанов и даже пробовал сочинять, что ему вполне удалось. Грустная странная пьеска в духе немецких мастеров минувшего столетия с тревожным *andante*, с мятущимся, неистовым финалом, внезапно обрывающимся на пронзительном затухающем восклицании, принесла ему успех в узком кругу. Все, казалось, сопутствовало дальнейшему взлету. На офицерских вечеринках под его аккомпанемент хорошо пелось; когда барышни умоляли его подыграть им, он с охотой это делал, и их манерное трепещущее сопрано пронзительно страдало в модном «Колокольчике».

Однажды Петербург посетил знаменитый европейский гений. Он играл в нескольких домах, куда не дошла очередь и до дворца. Гений был невысок, плечист, встрепан, на его апоплексическом лице мясника то и дело вспыхивала холодная учтивая улыбка, его смуглые жилистые руки с непомерно длинными пальцами хлестали по клавиатуре, словно обид-

чика по щекам... Его сочинение поразило слушателей своим великолепием, и восхищению не было конца. Затем начался бал.

Уже к его исходу, устав и взвинтившись, Мятлев пробрался в малую гостиную к роялю и принялся музицировать, пользуясь одиночеством. Несколько усталых гостей остановились в дверях, снисходительно улыбаясь. К ним присоединился и гений. Он уже собрался было уйти, но вдруг брови его взлетели изумленно, по красному лицу пошли белые пятна, глаза полузакрылись. Наконец он спросил шепотом: «Чье это сочинение?» Ему указали на Мятлева. «Кто же этот божественный музыкант?!» – «Князь Мятлев». – «Офицер?!» Дождавшись конца игры, он подошел к Мятлеву и обнял его. Князь покраснел, поблагодарил, отправился в буфетную и спросил водки. Спустя полчаса он слышал краем уха, как гений восторженно исповедовался кому-то о выдающихся способностях князя, на что его собеседник сказал: «Несомненно, маэстро. Но князь – представитель очень знатного рода, и было бы полезнее, если бы он с его именем послужил обществу, ну, скажем, на политическом поприще или, ну, скажем, утвердил бы себя в военном искусстве...» Мятлев снова отправился в буфетную и вскоре уснул.

С тех пор он почти перестал играть, когда его просили, морщился и отказывался, но так, чтобы, чего доброго, его нежелание не выглядело кокетством.

И с тех пор полированное животное с пожелтевшими зубами неподвижно и молча доживало свой век, уже без надежды на ласку.

Из комнаты Мятлева небольшая дверь вела в бывшую комнату его старшего брата Александра, ныне постоянно проживающего в Модене со своей женой итальянкой. В этой комнате князь оборудовал себе библиотеку, собрав в ней любимые книги, отгородив место для дивана, большого стола и секретера.

Достопримечательностью главной комнаты кроме рояля было громадное полотно в тяжелой позолоченной раме, написанное неизвестным художником, то ли Кравцовым, то ли Копейкиным, весьма посредственно живописующее сошествие на американский берег первых конкистадоров. Завоеватели в руках держали копья и мечи, что было явной данью невежеству. Перед ними на глинистом берегу стояла группа туземцев с открытыми доверчивыми лицами и многочисленными подарками. Где-то вдалеке за ними, у предвечернего горизонта, угадывались огни костров, видимо, там расположилось все племя, не помышляющее о скором и неминуемом своем конце. Плохо выполненное, безвкусное, это полотно в нелепой раме никак не гармонировало со скромной, но исполненной изящества обстановкой комнаты. Однако вот уже без малого двадцать лет украшало оно бессменно комнату, вызывая молчаливое недоумение редких посетителей. Меня с первого дня поражало лицо одного из туземцев, стоящего в глубине толпы. Оно было светлее, чем лица его собратьев, менее раскосо и скуласто; пронзительный, исполненный силы и страданий умный взгляд останавливал внимание; какое-то высшее благородство сквозило в высокой стройной фигуре. Презирая убогого маляра, я восхищался этим единственным портретом, словно родившимся помимо желания его творца. Множество грустных мыслей вызывала эта фигура, и в то же время гордость за человеческий род вспыхивала во мне, стоило лишь остановить на ней взгляд. Я знал его имя, хотя вслух оно давно уже не упоминалось.

## 5

Когда-то дом этот блистал и полнился шумом многочисленной семьи и еще более многочисленных гостей. Генерал-адъютант князь Мятлев был человеком, значительно приближенным к государю, и отпечаток принадлежности к самой высшей касте лежал в этом доме на всем. Однако желание блистать, к счастью, распространялось не только на времяпрепровождение. В доме Мятлевых все было с иголочки, лучшие гувернеры и лучшие учителя, великолепная библиотека и частые поездки за границу. Поэтому, когда пришла пора служить, сразу же по выходе из пажеского корпуса молодой князь был определен корнетом именно в кавалергардский полк. Там со всей юношеской страстностью окунулся он в неистовства, принятые в этой среде. Служба была не обременительна. Развлечения и проказы раз от разу становились все изощреннее. Государь гневался, но вполсилы, будучи благосклонен к старому князю и пока границы шалостей отстояли от дворца на почтительном расстоянии. Однако в скором времени, после на шумевшей истории с графиней Барановой, все переменялось. Графиня была немолода, некрасива и неумна. Положение фрейлины одной из великих княгинь многое ей позволяло. Она, к сожалению, часто использовала свое преимущественное положение, чтобы сводить с людьми, ей неугодными, мелкие счеты. Неугодными же ей были люди, в основном красивые, молодые и умные. И вот однажды два молодых красавца (одним из которых был наш юный князь), закутавшись в белые простыни, прокрались во фрейлинскую к графине, упрятались под кровать, а когда она появилась, продефилировали пред нею, повергнув ее в глубочайший обморок. Но на этом не кончились их фантазии, и они отнесли несчастную даму в нижние покои дворца, кажется, в кордегардию, которая оказалась пуста, и усадили ее на лавке со старинной алебардой в руках. Но и на этом все не кончилось, ибо любопытство пересиливало в них возможные опасения, и они спрятались там же, в темном углу. Вошел лейб-медик Ребров и тут же грянулся бездыханным. Шалуны благополучно исчезли, но вскоре их разоблачили. Разбирательство продолжалось недолго, и Сергея Мятлева перевели в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, подальше от Петербурга, и даже старый князь был бессилен что-либо сделать.

Обстоятельства же этого наказания вскрылись, как обычно, спустя долгое время. Рассказывали, будто государь, узнав об этой шалости, только и сказал: «Не мешало бы напomenить князю, что он уже не мальчик...» – сказал и уехал, но верноподданные его слуги, а может быть, и враги старого князя поспешили раздуть пожар, да такой, что Сергей Мятлев и сам поверил, что это катастрофа.

Столица, как говорится, отдалилась; местечко, где стоял юный Мятлев со своим эскадром, было препакозное: ничего, кроме старой грязной корчмы да нескольких офицерских дочек, одуревших от тоски. Командир полка барон Р., человек-машина, чуть не ежедневно устраивал смотры с непременно затем придирами. Луга вокруг местечка были испохаблены конскими копытами, хамство процветало и поощрялось, офицерские дочери готовы были на все с любым, мало-мальски похожим на мужчину. Пожилые офицеры пили до умопомрачения, вистовали до полного идиотизма и с помощью жен плели интриги против офицерской молодежи. *La maladie éternelle*. Барон, видимо, сошел с ума на почве смотров. Молодые аристократы, не привыкшие к провинциальной солдатчине, возмутились. В один прекрасный день через местечко протянулась похоронная процессия. На простой телеге стоял закрытый гроб. За телегой шли несколько офицеров, предводительствуемые Мятлевым. За ними пол-эскадрона спешенных гусар. Печальное шествие замыкал полковой оркестр. У ворот всех домов толпились жители. Вдруг из-за угла выскочила коляска, и все увидели знакомое лицо командира полка.

– Что за похороны? – спросил барон.

Процессия остановилась. Оркестр умолк. Все оборотились к Мятлеву. Князь Сергей, прикусив добела губы, торжественно, насколько позволяла грязь, подошел к коляске барона.

– Корнет, что все это значит? – шепотом спросил командир полка. – Что это... кто это... кого вы хороните?

– Вас, ваше превосходительство! – звонко отрапортовал юный князь. – Все огорчены. Прошу принять наши соболезнования...

Буря разразилась мгновенно, но то ли командир полка не был в числе любимцев у государя, то ли расстояние до Петербурга рассеяло удар, во всяком случае громы прогрохотали в вышине, а Мятлев получил новое предписание, сел в карету вместе с поваром и слугой Афанасием и отправился на Кавказ. О боевых делах он рассказывал неохотно, но мне-то было известно со стороны, как он там играл со смертью. Тяжелая рана принесла ему прощение. Внезапная смерть старого князя смягчила сердца богов, и Сергей Мятлев, словно блудный сын, вернулся под кавалергардский кров.

Кстати, о тяжелой ране. С нее-то, кажется, и начались внезапные и неведомые приступы дурноты, время от времени овладевавшие Мятлевым. Предугадать их было невозможно, сколько мы ни пытались. Врачи, пользовавшие его в разные периоды, единодушно отвергали мысль о возможной падучей. Да и течение приступа несколько не напоминало известную и отвратительную болезнь. Начиналось это с бледности, которая мгновенно покрывала все лицо, на губах появлялась виноватая улыбка, взгляд тускнел, безволие сковывало члены. Он говорил невпопад, шел, куда не намеревался, соглашался со всем, что бы ему ни говорили, и при этом настойчиво старался вручить собеседнику деньги, какие при нем были... Однако это продолжалось обычно не более минуты и исчезало почти бесследно, если не считать робкого желания остаться в одиночестве, наедине с графинчиком водки.

Не страдая никакими недугами, я жалел князя и советовал ему взять отпуск и укатить в мою благословенную Грузию, но он лишь посмеивался в ответ, в то же время не отказываясь от услуг бесполезных и бессильных врачей.

Я стал бывать в его доме. Там еще продолжало кружиться по инерции хлебосольное колесо празднеств и развлечений, но обороты его становились все реже и реже. Старое поколение покинуло этот мир или устало, новое имело другие наклонности. Мы быстро сошлись с Мятлевым. Служба в лейб-гвардии Павловском полку тоже не слишком меня обременяла. В союзе кавалергарда и павловца не было ничего зазорного, и мы обратили всю свою энергию на то, чтобы хоть как-то, как нам казалось, замедлить быстротекущую жизнь и попридержать покидающую нас юность. Не смею утверждать, дабы не прослыть искажителем истины, что лишь одни проказы и удовольствия занимали наши мысли и время. Нет, возраст коснулся и нас своей ладонью, образумливая и утишая. Лишь иногда теперь мы все же словно срывались с цепи и в каком-то не слишком веселом неистовстве принимались за осуществление своих фантазий, покуда снова не приходили в себя... Но это случалось все реже и реже, и все реже и реже князь появлялся в свете.

Золотое это племя давно успело показать ему свою пустую душу и острые коготки, и в его забавах Мятлев уже не находил себе утешения. Что же было делать человеку незаурядному, ежели заурядность одна признавалась в этом племени и одна не была гонима? Раствориться в нем и отдаться на волю волн? Этого князь не мог. Сам того не осознавая, он старался выплыть и барахтался в бездушном океане, иногда мстя ему в меру своих сил. Ах, эта месть – игра, да и только! Не велика беда для твоих хулителей – пьяное твоё ожесточение, когда все кажется мало, мало, и фантазия уже граничит с безумством, и ты видишь мир поверженным и наказанным... Ан это ты сам, нализавшись, ровно мастеровой, полный бессилия и отрицания, тешишь себя вином. И все мало, мало, мало... Сначала пилось в больших компаниях, но круг сужался... Бывало, что князь прикладывался и в одиночестве. За ним уже успела установиться репутация человека опасного, отрезанного ломтя, изгоя, насмешника,

способного на любой неожиданный поступок. Известно было, что государь его не одобряет, помнит его проказы и что, ежели разговор вдруг заходит о князе, откровенно морщится.

## 6

Вот каковы были обстоятельства, когда мы окончательно сблизились. Мы жили сегодняшним днем, не ожидая от будущего ничего, кроме мелких пакостей. Но жизнь есть жизнь. И, едва став почти безраздельным владельцем большого дома, Мятлев тотчас принялся устраиваться в нем по-своему.

В сапогах, в белой кружевной сорочке с распахнутым воротом, полный священного огня созидания, подобный вдохновенному зодчему, мелькал он то здесь, то там по дому. Он начал с третьего этажа и переоборудовал его, как я уже рассказывал. Второй этаж был оставлен в прежнем виде. Он состоял из нескольких помещений разной величины. Самое крупное – большая гостиная. Она имела овальную форму. Громадная витая бронзовая люстра нависала над ее центром. Четыре потускневших зеркала аккуратно располагались по стенам вперемежку со сливочными колоннами; удобные диваны минувшего столетия, обитые вишневым французским бархатом, опоясывали гостиную; великолепный паркет блистал, будто вчера натертый. Гостиная казалась пустой, лишенная рояля и кресел, зато она открывала теперь свое пространство, годное для фехтования и одиночества. В малую гостиную были теперь снесены все карточные столы, и она напоминала классы, покинутые учениками навсегда. Я не спрашивал князя, что побуждало его перестраивать свой быт так, а не иначе, но, судя по его возбуждению и по смеху, с которым он все это проделывал, можно было предположить, что это неспроста и какой-то очень тонкий, едва уловимый расчет руководит новым хозяином дома. Наконец пришло время экзекуции первого этажа. Он велел заколотить все двери жилых покоев, пощадив лишь службы и людскую, и навсегда, как ему казалось, отгородил себя от монументального кабинета-библиотеки отца, предварительно опустошив его по своему вкусу. Были заколочены двери в спальни отца и давно умершей матери, хотя все там, внутри, было оставлено в неприкосновенности. Освободившись таким странным образом от своего же прошлого, он распорядился втрое сократить количество прислуги, возвратив сокращенных в их деревни, чему они не были рады; оставил себе повара, кухарку, форейтора, лакея, садовников и круглолицего Афанасия в качестве камердинера, мажордома или дворецкого, или адъютанта, ибо в лице этого деревенского чудака и ровесника успел за многие годы приобрести человека, как ему казалось, преданного, надежного и оригинального.

И вот, совершив все вышепоименованное, он продолжал жить уже как бы в новом качестве. И, видимо, в связи со всеми этими новшествами, о которых злоеший слух не замедлил разлететься, и заехала к нему как-то его сестра, фрейлина великой княгини Елены Павловны – Елизавета Васильевна, похожая на натянутую струну. Не снимая шубы, в злобещем молчании проследовала она на третий этаж. В комнате не пожелала сесть, стояла в дверях, брезгливо вглядываясь в прихотливое ничтожество княжеского убранства. С виноватой улыбкой Мятлев выслушивал ее расточительный гнев, не желая понимать своей вины, которая была ужасна хотя бы тем, что напоминала вызов, ибо все эти преобразования и стиль поведения... Он безуспешно пытался вставить хоть слово, но она повелительным жестом прерывала его и говорила все сама, сама, сама... И он кивал ей, будто бы соглашаясь, но она-то знала, как мало согласия в мягких кивках этого сумасброда... Она не намерена краснеть за него и видеть недоумение и осуждение в глазах людей, окружающих ее, и выслушивать их соболезнования!.. Больше ее нога... бесчинство... гнев государя... забвение...

## 7

Пока он судорожно растрачивал свою молодость, женщины не были для него объектом пристального внимания. Их образ не выросал над привычными пристрастиями. Влюбчивость же, как он думал, минула еще в ранней юности. Воспоминание о первой любви было смешным и далеким. В бытность свою в пажеском корпусе он повстречался на детском балу у Шереметевых с Машенькой Стрекаловой. Голова у него слегка закружилась при звуках ее капризного голоса. Он понял, что не сможет забыть ее, и после первого же танца ускользнул с нею в пустую буфетную. Там они присели на лавку, и Сережа Мятлев, наклонившись к ней, увидел в вырезе ее платья два неких розовых бугорка, две едва заметные припухлости, что-то такое нежное и живое... Он поцеловал ее в круглое плечо, а сам, целуя, все косился туда, в полумрак, где это вздымалось и опадало тревожно и часто.

– Ах, – сказала она, не отстраняясь, – вам следует поговорить с татан!

– О чем? – спросил он, не понимая. – Я люблю вас навеки...

– Тем более, – сказала она. – Если вы просите моей руки, как же можно, минуя татан? Как она скажет, так и будет. Вы мне тоже приятны, не скрою, но как же без татан?

Они вернулись к танцам, никем не замеченные. Позже Мятлев уехал домой. И уже в карете, засыпая на плече гувернера, подумал, что не знает, о чем говорить с Машенькиной матерью и как говорить, и еще подумал о том, что девочка вовсе не так хороша, хотя у нее было такое это нежное и, наверное, горячее, что хотелось прикоснуться.

И все-таки это был уже опыт, на который он опирался впоследствии в разговорах с бывалыми кавалергардами.

Потом он соблазнил, едучи как-то в свое костромское имение, молодую розовощекую поповну. Вернее, она соблазнила его. От нее пахло молодостью, рекой и луком, и это запомнилось Мятлеву на всю жизнь. Переполненный любовным опытом, он некоторое время скептически относился к женщинам, покуда кавалергардская фортуна не обязала его придерживаться установленных правил. В этой звонкой среде все было на виду, на ладони. Донжуаны в кирасах исповедовались друг другу с жаром отправляющихся в последнюю битву или на эшафот. История следовала за историей, любовные приключения сменяли друг друга. Кавалергардская казарма гудела. У начинающих кружились головы и захватывало дух. Послушать разговоры, так могло показаться, что все женщины Петербурга, сойдя с ума, поклялись в вечной неверности своим мужьям и с легкостью устремились в объятия скучающих офицеров. Наверное, в этом был свой резон. Умение как ни в чем не бывало дружить с мужем своей любовницы – вот что было высшим и тончайшим признаком совершенства. Захотелось испытать и это, словно попробовать холодную воду кончиками пальцев, прежде чем окунуться в нее с головой. Удобный случай не заставил себя долго ждать, ибо он всегда возле нас и тотчас объявляется, лишь прояви мы к нему расположение.

## 8

Жене барона Фредерикса, действительного тайного советника и камергера, Анне Михайловне Фредерикс, урожденной Глебовой, перевалило за тридцать, но она продолжала оставаться все той же пленительной Анетой, с внешностью юной креолки, с движениями, исполненными чарующей грации. Она редко бывала в свете, что придавало ее имени оттенок таинственности, а молчаливость усиливала это впечатление в глазах окружающих ее людей. Мятлев встречал ее и раньше, но положение замужней дамы и натуральная сдержанность в ней, граничащая с холодностью, не располагала его к чувствам. Однако время шло, и они встретились на большом балу, кажется, на Рождество, а может, несколько раньше, и он впервые танцевал с ней. Что-то вдруг словно ожгло его, едва он коснулся ее руки, тонкий надменный аромат исходил от ее розового шелка и черных локонов. Ее большие сливовидные глаза были неотрывно устремлены на него, но выражали больше равнодушия, нежели интереса. Танцевала она легко, но без страсти и азарта молоденьких барышень, несмотря на то, что Мятлев с непонятным волнением пытался передать ей хоть малую искру бального вдохновения.

– Вы редко выезжаете, – проговорил он, чтобы не быть в одиночестве.

Она не ответила, лишь снисходительно улыбнулась.

Неожиданно он понял, что она неописуемо хороша, пленительна и что случится непонравимое, ежели он не сможет отныне видеть ее часто. Это было в нем так сильно, как никогда до того. Он старался не глядеть на нее, чтобы не быть убитым наповал, смеялся в душе, пытаясь залить бушующее пламя, но попытки были напрасны. Глубокие ее глаза и розовый шелк платья казались ему грозовым небом. Дышалось трудно, с ужасом. Она, видимо, не испытывала ничего подобного, так как, стоило ему взглянуть на нее, он встречал ее спокойный взгляд и все ту же снисходительную улыбку.

– Вы будете у Бобринских в следующий четверг? – задыхаясь, спросил он.

Она пожала плечиками, не отводя взгляда.

В душе Мятлева бушевала буря. Он искал ее ко второму танцу, но не мог найти. Наконец ему сказали, что она уехала. Он был в смятении, однако, возвращаясь домой, вдруг ощутил себя здоровым и спокойным, объяснил это собственной каменностью и в раздражении на себя самого за эту каменность и черствость пытался взвинтить себя. Начал было письмо к ней, но слова выходили слишком прохладны. Наступил четверг. Он летел в карете и думал: «Как стыдно, как я безобразно спокоен! Что это со мной?.. Нет, я люблю ее! Вот именно люблю...» Вошел в залу. Ее не было... Вдруг она появилась со своим мужем, уже немолодым рыжим человеком, который тотчас удалился к таким же, как он, играть или делиться впечатлениями дня, кто знает. Как только он ее увидел, нешуточная страсть вспыхнула в нем. «Ага!» – позлорадствовал он над самим собой. Она была милостива. Узнала. Они танцевали. Взгляд ее был уже без прежней снисходительности. Напротив, что-то даже теплое и располагающее промелькнуло в нем и в выражении ее лица, так что Мятлев вдруг освободился от кошмаров, преследовавших его целую неделю.

– Я все время думал о вас, – признался он.

Она не ответила, но поглядела на него с интересом.

– Побудьте подольше, – попросил он. – А то вы исчезаете...

И она исчезла, не дождавшись середины бала, и снова оставила его в пустоте и неопределенности. И тут же, к его досаде, пламя начало угасать. Он еще цеплялся за него, раздувал, припоминая ее плечи, щеки и тепло, идущее от них, вечное, обольстительное и проклятое. Он еще вдалбливал себе в голову мысль о своей невероятной любви, но говорил об этом уже сдержаннее, видя перед собой четкий контур адюльтера.

Вдруг от Фредериксов пришло приглашение посетить их! Так просто и изысканно выглядел надушенный конверт, что мой князь восторгнулся и отправился к ней за два часа до намеченного срока. Он отпустил карету. Спихватился, но было уже поздно. И, пока не наступила минута, позволяющая войти, не нарушая приличий, он около полутора часов фланировал невдалеке от особняка Фредериксов. И вот наконец он вступил на спасительный берег, где был совсем иной порядок, иные нравы, иные страсти. Не так шуршал под ногами ковер, не так потрескивали свечи, неведомый сквозняк овеивал его, покуда он, замирая, переступал по лестнице деревянными ногами. Почти угасший огонь вновь бушевал в нем. Он снова любил и был счастлив. Все, что он еще мог увидеть вокруг себя, приводило его в умиление, на всем он видел легкое касание ее руки, дыхания, взгляда. Мраморная лестница казалась нескончаемой, и неожиданные листья живой смоковницы сочлись сквозь белые перила неизвестно откуда, и почему-то в голове вертелся вздорный мотив и первая строчка: «Я сорвал для тебя этот цветик лесной...» Что там было дальше, Мятлев не помнил, лишь старательно повторял эту строчку. Перед распахнутой дверью в гостиную он зажмурился. Она пошла к нему навстречу.

– Здравствуй, князь. Мы рады вас видеть, – сказала она, и он впервые услышал ее голос. Ноги приобрели прежнюю упругость и устойчивость. Он поцеловал ее руку. Вдруг ему показалось, будто нечто мягкое, темное, неопределенное выдвинулось из глубины гостиной и на мгновение заслонило свет. Затем оно осторожно приблизилось и остановилось неподалеку.

– Знакомьтесь, – услышал он над собой. – Вот и наш славный князь.

Перед Мятлевым стоял сам фредерикс в простом полуфраке. Мятлев машинально сравнил их обоих.

– Я очень рад, – сказал камергер. – Анна Михайловна не ошиблась, вы действительно милы.

Князь растерялся и не знал, что это: учтивый выпад или признание.

«Нет, это невозможно, – подумал он, вновь мельком оглядывая их обоих и сравнивая, – это ошибка...»

– Ну, что же вы остановились, князь, – сказала она. – Пожалуйте.

– Пожалуйте, – повторил камергер.

Бедный князь! Что чувства делают с человеком! Их избыток так же вреден, как и нехватка. Подумать только, взбираться на такую головокружительную высоту, чтобы убедиться, что она не высота, а лишь предгорье, а главное там, дальше, и достичь до него – немыслимая затея.

– Я вижу в вас черты вашей матушки, – сказал камергер, когда они устроились в креслах. – Я помню ее, она была несравненно хороша.

– Все Мятлевы красивы, – сказала Анета.

Князь покраснел.

– Воистину, – отозвался Фредерикс, – уж вы, князь, должны к этому привыкнуть. Анна Михайловна просто очарована вами, и я теперь вижу, как она права. Все князь да князь, князь да князь...

Мятлев покраснел.

«Я люблю ее!» – подумал он упрямо.

Камергеру было за пятьдесят. Гладко выбритое, цветущее его лицо дышало здоровьем и покоем. Говорил он уверенно, почти не разжимая по-юношески ярких губ. Да, уверенно, но деликатно.

– Теперь я наконец смог познакомиться с вами. О вас много говорят и уже давно. Вы, князь, тайна. Что же до меня, то я люблю прозрачность. Тайна для меня обременительна. Вы улыбаетесь, князь, и слава богу. Вы, я вижу, слишком умны и, может быть, не обижай-

тес, несколько ленивы, чтобы предаваться амбиции. Кажется, я угадал... Я имею в виду не праздную лень посредственности, а способность не быть суетным, вот что я имею в виду. Ваш приход, князь, большая честь для меня...

– Вам понравилось в четверг? – обратилась Анета к Мятлеву. – Не правда ли, там было мило?

– О да, – торопливо откликнулся князь Сергей, – но со второй половины стало скучнее.

– А мы как раз уехали, – мягко напомнил Фредерикс, – у Анны Михайловны начались головные боли. Мы уехали.

Мятлев вновь покраснел и тут же заметил легкое неодобрение с ее стороны.

– А кстати, – сказал камергер, – однажды я проезжал мимо вашего дома; это прекрасный дом, хотя в некоторой запущенности. Впрочем, это ему идет. Я не люблю новые дома. Они мне кажутся самонадеянными. У них слишком вызывающая внешность, они буквально лопаются от самодовольства, очевидно по-своему считая, что им все можно. Меня это приводит в негодование. Позвольте, думаю я, с какой стати вы так самонадеянны? С первой же встречи вы пытаетесь убедить меня в собственной значительности и в том, что у вас все права и вообще все. А не боитесь ошибиться? Хочется спросить у них: не боитесь? А ведь ошибка страшнее преступления. И, кроме того, мне отвратительно видеть ваше недоумение, когда вы попадаете впросак... Да, ваш дом мне приятен именно тем, что не самонадеян, а стало быть, великодушен. Есть высшее благородство в молчании и в умении не искушать судьбу для осуществления каких-то утопий. Вы согласны со мной? Ну, естественно...

Теперь покраснела она.

– Некоторые ощущения, – продолжал камергер, – требуют того, чтобы их превозмогать. Не правда ли. Не хотите ли трубку, князь? Как вам понравилась смоковница возле лестницы? Анна Михайловна потратила множество усилий, чтобы это библейское растение украсило старый дом.

«Я сорвал для тебя этот цветик лесной...» – пропел про себя Мятлев.

– Вы, я слышал, отличились на Кавказе... И рана была тяжела? – продолжал Фредерикс. – Вот вам парадокс: русский кавалергард (тогда вы не были кавалергардом?), русский офицер, по своему историческому характеру существо домашнее, великодушное, склонное к неге и расточительству, лежит на диком берегу азиатской речки со вспоротым животом, вы извините, князь, за натуральность, но ведь так?.. А разве вам приходилось там задумываться о значительности вашей миссии? Нет? Вот видите... Для юнца это приключение, для человека средних лет и заурядного – парадокс, для личности, мыслящей государственными категориями, – единственно разумный образ действия, а не каприз кого-то для чего-то. Вот Анна Михайловна делает мне знаки в том смысле, что я говорю несуразности. Я не буду больше говорить несуразности, я только хочу сказать вам, что существует ход истории, а наше дело ему споспешествовать.

– Да, – сказал Мятлев, как в полусне, – много крови и слишком много оправдательных документов.

– Видите ли, князь, – улыбнулся Фредерикс, – и снова парадокс, но уже истинный: жизнь возвышается только жертвами.

Он сидел в кресле, покойно откинувшись. Анета с загадочной улыбкой глядела на Мятлева. Князь же все ждал чего-то, все чего-то ждал, вслушиваясь в ровный, уверенный, неторопливый голос камергера. Постепенно он перестал понимать весь смысл, а улавливал лишь отдельные слова, затем ненадолго ясность восприятия восстанавливалась, но тут же пропадала снова. И это его не беспокоило. Беспокоило другое, что он ждал чего-то, а оно не наступало.

– ...или, например, – говорил камергер, – западное славянство ни в коей мере не заслуживает нашего участия, ибо мы без него устроили наше государство, без него возвеличились и страдали, и оно... зависимости... ничего... историческое существование...

Мятлев улыбнулся ей, она не изменила своего напряженного выражения. Он дал ей понять, что он сгорает, что для него все кончено; как-то он это попытался ей объяснить, внушить. Видимо, это ему удалось, и, видимо, она чувствовала, что все напрасно, ибо ничего не предпринимала.

Время визита подходило к концу.

– ...как все люди с чрезмерным самолюбием, – продолжал Фредерикс, – которые страдают неудач, в финансовых делах этот граф был ужасно застенчив. Это его и погубило... получив... занесло... прельстившись...

Согласно кивая Фредериксу, проникновенно морща лоб и с мнимой многозначительностью барабанив пальцами по колену, Мятлев все же успевал мельком взглядывать на нее и рассматривать ее как бы впервые. Она была уже не та: уже без надменности, и будто бы не так смугла и не так загадочна. Что-то в ней появилось домашнее... Ах, вот она какая?... «Значит, вот она какая?» – с удивлением думал Мятлев.

– ...когда просвещение блеснет перед полуварварами, – продолжал камергер, – то прежде всего хватаются они за роскошь, как дети... огонь... смысла... повседневное...

– Мы всегда будем рады видеть вас, – сказала она Мятлеву, когда он поднялся.

– Да, да, – подтвердил Фредерикс, также вставая, – весьма.

Она провожала его одна, без своего камергера, который как-то незаметно исчез, переполненный внезапными озарениями. На белой мраморной лестнице они были совершенно одни, и Мятлев обернул к ней страдающее лицо, обрамленное листьями смоковницы, словно пытался выяснить наконец, какова же его участь отныне.

– Ваша горячность, князь, – она приложила палец к губам и засмеялась, – не делает вам чести... Надеюсь, вам было не скучно? – Пока он целовал у нее руку. – Надеюсь, вам было не скучно?..

Легко ей было говорить, она видела перед собой кавалергарда, красивого и притягательного, чуть робеющего то ли от неуверенности, то ли из изощренного плутовства, а он меж тем ощущал себя пилигримом в рубище, добравшимся наконец до мировой тайны и понявшим всю тщету трагических своих усилий.

– Бедный князь, – проговорила она шепотом, – приезжайте, ну, хоть завтра... Я буду ждать вас... – и глядела ему вслед, как он сходит по белым ступеням, как лакей подает ему шубу, как он хочет обернуться, чтобы взглянуть на нее, и как сдерживается, чтобы не обернуться.

## 9

«Завтра» – какое ехидное понятие, переполненное пустотой! Как много надежд рождает оно для рода людского, ничем в результате не отдавая. Воистину прав был Вольтер, с горечью утверждая, что мы не живем, а только надеемся, что будем жить. Зачем? Зачем? Пустота этого слова заманчива. Оно, как порожняя винная бочка, гудит, надрывается, многозначительно ухаает, покуда не развалится и не обнажит давно истлевшие доски. Зачем? Зачем? Уж ежели доверять, то лишь нынешнему дню, лишь этому мгновению, а не призрачным фантазиям, чтобы потом не плакать горько, чтобы не раскаиваться... Неужели прошлое ничему нас не учит?

Она сказала: «Завтра». Эх, князь! Ты не одобрял моей насмешливости и почитал меня не в меру злоязычным, когда я пытался предостеречь тебя от твоих надежд.

– Мне сладко, и голова кружится, – ответил ты. – Завтра все решится. – И снова принялся бубнить себе: «Я люблю ее! Ах, как я люблю!»

Однако сон был спокоен. Утром он накинул шубу и вышел в парк.

Не знаю, насколько можно было величать парком это запущенное царство корней, ветвей и листьев на краю Петербурга. Во всяком случае затеряться там было легко. Уже давно никто не занимался этим пространством земли, дав ему однажды полную свободу жить как заблагорассудится. Со стороны фасада еще удивляла воображение чугунная решетка, строго отделяя заросли от улицы, от мира. Но с других сторон затейливые дощатые заборы пришли в ветхость и постепенно обратились в прах, и все смешалось, переплелось, аллеи заросли, лишь кое-где змеились тропинки, проторенные случайными людьми или бездомными псами. Еще в ту пору, когда жив был старый князь, корни и листья начали свою неукротимую борьбу с человеком и одолели его, и теперь уже трудно было установить истинные границы парка, да никому до этого не было дела, так что, выйди теперь князь и предъяви свои права на это пространство, его бы осмеяли. В летние вечера все чаще и чаще среди необозримых зарослей находили себе приют влюбленные и бродяги, а в праздничные дни горластые семейки мастеровых устраивали свои нехитрые пикники, и тогда шло ауканье, как в заправском лесу.

Зима делала этот бывший парк прозрачнее и светлее, исчезали таинственные закоулки, потухали неведомые голоса, тучи пернатых перекликались где-то на далеком юге, и лишь тяжелые вороны вскрикивали среди голых ветвей и неизвестные следы синели на ровном снегу.

Этот парк и деревья вызывали в памяти воспоминания об одном кратковременном эпизоде в его жизни.

Однажды, присутствуя на невообразимом кавалергардском пикнике в самый разгар лета в каком-то забытом лесу, обалдев от вина и от ненасытной суетности роскошных своих собратьев, Мятлев скрылся за деревьями, нашел тихий уголок, повалился в густую высокую траву и уснул. Когда он открыл глаза, возникший перед ним мир показался ему незнакомым. Пестрые заросли окружали его, скрывая от неба чуть сырую первозданную землю; какие-то неуклюжие существа на кривых ножках медленно преодолевали чудовищные препятствия; они были снабжены то изысканными рожками, то устрашающими рогами, то прозрачными крыльями; и у всех были громадные выпуклые глаза, переполненные тысячетлетней грустью и свирепостью. Некоторые из них приближались к Мятлеву, к его лицу и удивленно застыли, видя перед собой это уродливое гигантское порождение природы. Над ним склонялись цветы, служащие им пищей, жильем и дорогой; ни ветры, ни звуки иной жизни не проникали к ним... И вдруг среди фантастического этого мира, в самой его глубине, под раскидистыми листьями неведомого растения Мятлев увидел человека. Неподвижный и одинокий,

изваянный из сосновой веточки, занесенный сюда неизвестно кем, он стоял, прислонившись к прозрачному стеблю растения, вскинув восторженные ручки, задрав вдохновенную головку, с выражением счастья и покоя на деревянном лице. Мятлев протянул руку, с благоговением прикоснулся к этому чуду и взял его на ладонь. Человечек, одетый в полупрозрачную золотистую сосновую пленку, и на ладони князя все так же восхищенно и счастливо глядел перед собой.

Мятлев не дождался конца пикника и уехал, увозя чудесного найденыша. Дома, вооружившись старым дамасским ножом, он выточил из чурбачка небольшой пьедестальчик и водрузил на него свою находку. Лихорадочная страсть охватила князя.словно одержимый, обшаривал он парк, прилегающий к дому, уезжал в леса, таскался по болотам и искал, искал, искал... Он вырывал с корнями едва народившиеся елочки, сосны, вереск и березки, стряхивал с корней землю и часами вглядывался в хитросплетение ног, рук, голов и тел, страдающих, танцующих, влюбленных, разгневанных и больных. И тогда, ежели находил то, что его поражало, отсекал дамасским кинжалом от ствола, чистил, соскабливал лишнее, складывал в кожаный баул и увозил домой. Вскоре мраморные подоконники были сплошь заселены этим лесным племенем, обремененным страстями и молчанием. Обнаженные русалки тянули к нам свои деревянные небезопасные ручки, безголовые солдаты шагали неизвестно куда, прекрасные женщины задыхались в объятиях своих возлюбленных, слившись с ними навечно, танцовщицы изысканно приседали, кружились и кланялись, купальщицы осторожно касались воды кончиками пальцев, и был Христос, сгибающийся под тяжестью креста, и был Христос распятый, но еще живой, напрягший мускулистое тело, и Христос, уже обмякший... И среди племени людей возлежали змеи с бычьими головами, суетились бесы, черные и наглые, птица с женской грудью, ведьма в обнимку с неведомым вальяжным и бесстыдным многоруким чудовищем...

Это был праздник природы и человеческого вдохновения, а восторженные свидетели на несколько минут превращались в тайных соучастников, но, расставшись с князем, недоумевали и посмеивались над ним. Через несколько месяцев он внезапно остыл к своему пристрастию, горничная вымела из комнаты сухой пахучий мусор, а запылившееся племя, украшавшее комнату, постепенно куда-то исчезло, словно отправилось на поиски утраченного своего отечества...

И вот он ходил по парку, по единственной утоптанной дорожке, радуясь предстоящему свиданию и тайно мучаясь, потому что маленькая капелька яда, пролитая мной, делала свое дело.

Дорожка уводила от заднего крыльца большого княжеского дома к столетней липе, обегала ее толстенный ствол и устремлялась в глубину парка по направлению к Невке, словно надеялась пересечь парк и реку и весь мир, но у единственной уцелевшей скамьи внезапно прерывалась, потонув в сугробе.

Вдруг ему почудилось за спинкой скамьи легкое движение. Он шагнул туда.

Перед ним стоял хмурый розовощекий мальчик в крестьянской поддевочке, в черных валенках. Нежданный этот маленький гость стоял с вызывающим видом, загородившись деревянным мечом. Меч дрожал в тонкой озябшей ручке, пальцы другой сжимали ветку рябины, и багряные ягоды на ней переливались, как ярмарочные стекляшки.

Мальчик был не из людской, за это князь мог поручиться. Видимо, он пришел издалека, из глубины зарослей, из другого мира, утопая в рыхлом снегу, опираясь на деревянное оружие, как на посох.

— Откуда ты, мальчик? — тихо спросил Мятлев и повернулся было кликнуть Афанасия, отвести мальчишку обогреть, дать чаю, спровадить...

— А не хочешь собственной кровью залиться? — крикнул мальчик.

— Вот как? — растерялся Мятлев. — А для чего же вам рябинка?

Мальчик дерзко рассмеялся и погрозил мечом. Морозный ветер стал заметнее. Ручка, сжимавшая меч, посинела и напряглась, но та, в которой была ветка рябины, поразила Мятлева – так изысканно был отставлен мизинец, будто маленький ангел с оливковой ветвью стоял перед князем – и князь смутился за свой вопрос.

– Какая еще рябинка? – спросил мальчик презрительно – Где ты увидел рябинку, несчастный?.. А хочешь, я пощекочу у тебя в брюхе вот этим! – и он снова потряс мечом.

– Рябинка на что? – спросил Мятлев. – Веточка...

– На могилку твою положу, – сказал мальчик звонко и вызывающе.

– Вот как? – еще пуще растерялся князь. – А как зовут вас, сударь?

– Я из благородного рода ван Шонховен, – сказал мальчик замерзшим ртом.

– А разве можно маленьким мальчикам одним... в пустом парке...

Мальчик засмеялся в ответ.

Князь решительно направился к дому.

– Трус! – крикнул мальчик, потрясая мечом. – Вот ужо!.. – и заковылял в сторону зарослей, проваливаясь в снег, опираясь на меч, и вскоре скрылся из виду.

Еще долго серые глаза маячили перед Мятлевым, и он все воображал, как прячет маленькую озябшую ручку в своих ладонях, однако к вечеру мальчик больше не вспоминался, и князь был готов торопиться к своей Анете, пренебрегши моими предостережениями. Час пробил, и он помчался. Однако уже в вестибюле Мятлев по каким-то едва уловимым признакам догадался, что что-то произошло: то ли смоковница не казалась ему по-прежнему пышной, то ли мрамор лестницы крошился и на всем вокруг лежала мелкая розоватая пыль.

Ему сказали, что баронессы нет дома. Как так? А вот так. Они давно уехали-с, а когда будут, не сказывали. Князь Мятлев? Непременно, ваше сиятельство... Господин камергер? Как с утра уехавши, так до сей поры-с не объявлялись...

Тут надо было на него посмотреть, на моего князя. – Моих предупреждений он, естественно, не вспоминал, когда мчался через Петербург в свою трехэтажную крепость.

О, если бы судьба занесла его к нам в Грузию и он смог бы однажды на рассвете вдохнуть синий воздух, пахнувший снегом и персиками, и увидел бы мою сестру Марию Амилахвари – все будущие беды отступили бы от него и боль разом бы кончилась.

## 10

Князь баронессу не любил, я в этом более чем уверен. Уж эти мне капризы... Просто он распалился, получив отказ, а любому мужчине понятно, что это значит. И, пребывая в полубреду отчаяния и хмеля, он даже пытался писать ей...

Внезапно, черт знает с чего, ему сделалось легче. Он выглянул в окно, там было много снега и солнца, и обида, нанесенная баронессой, потускнела и почти прошла. Стало даже скучно вспоминать это происшествие и себя вспоминать его участником. «Какая еще любовь? – подумал он, усмехаясь. – Когда бы она бесстыдно явилась сама, и плакала бы, и валялась в ногах, а я со страху взобрался бы на подоконник, словно барышня, спасающая свою невинность, вот тогда бы в этом порыве страсти, преисполненные сумасбродства, мы еще могли бы говорить о любви...» И тут он осекся – под вековой липой стоял давешний мальчик, и князю стало совсем легко. Вот вам и баронесса, вот вам и любовь! Будто я этого не предчувствовал.

Солнце сияло, небо было бледно-голубым. Мальчик медленно приближался к дому. Наконец он подошел уже так близко, что можно было различить его розовые щеки и пуговицы на армячке... Вот вам и любовь к баронессе... Ежели она и была, любовь, так что ж она так рано потускнела? Мальчик подошел уже к самому дому, стоял возле крыльца и озирался. Мятлев крикнул Афанасия и велел пригласить путешественника. И вот уже через секунду, одетый в латаный ливрейный фрак, обутый в худые валяные сапоги, с идиотским цилиндром на макушке, Афанасий распахивал перед маленьким гостем тяжелую дверь, и призывно вытягивал руку, и скалился, и притаптывал снег.

Наконец мальчик вошел в комнату. Меча не было. Пухлые губы едва шевелились в растерянной улыбке. Князю вспомнилось странное имя.

– Господин ван Шонховен?

И он, дружелюбно распахнув руки, пошел навстречу гостю, так и не успев прикрыть халатом истерзанной кружевной рубашки.

– Ах! – воскликнул мальчик и быстро отвернулся.

«Действительно, – спохватился князь, – и туалет и рожа с похмелья».

Афанасий удалился за дверь. Князю захотелось приободрить мальчика, сказать неприужденно: «Ты чего, дурачок? Ну, хочешь, я тебе покажу раскрашенные картинки?» Но мальчик рассмеялся, сверкнув белыми зубами, взгромоздился, в чем был, в кресла и спокойно глянул на хозяина дома: «Ну-с?»

– Теперь так, – сказал Мятлев, глупо улыбаясь, – не хотите ли щей?

Мальчик, видимо, совсем освоился, да и суетливость Мятлева придавала ему бодрости, будто это он был хозяином дома и князь к нему заявился, неизвестно для чего.

– Мамап даже не догадывается, где я, – сказал гость. – А вы меня испугались тогда? Вы думали, что я вас могу ударить мечом?.. Нет?

– Господин ван Шонховен, – сказал Мятлев, – что же побудило вас искать со мною встречи?

Гость засмеялся. Быстро накатывали сумерки. За окнами заголубело. Издалека слышались колокола.

– Просто так, – сказал мальчик и прищелкнул языком. – О вас много говорят, – и снова прищелкнул, – а я думаю, дай-ка погляжу.

– Что же говорят?

– Разное.

– Кто же это говорит? – удивился Мятлев. – Да разве жизнь стариков должна интересоваться маленьких мальчиков?

– А ведь интересно, – засмеялся мальчик.

– Ничего интересного, – обиделся Мятлев и велел Афанасию проводить шалуна.

Однако гость забрался под стол и отказывался оттуда выходить, и потому бессильный Афанасий скакал вокруг козлом, причитал, выдумывал:

– ...а вот мы вас... а вот я сейчас... а где моя плеточка?.. Хватай его, неслуха... – Потом взмолился: – Сударь, а вас-то ищут. Пять лакеев да семь солдат, все с фонариками, с факелами, с алебардами бегают по двору, их ваша матушка, сударь, послали...

Мальчику нравилась игра, и он смеялся, покуда два взрослых человека выуживали его из-под стола. Наконец это удалось, и Афанасий, приговаривая, повел гостя из комнаты.

– Я к вам еще приду, – сказал на прощание мальчик и худенькой ручкой застегнул пуговицы на армячке. – Вы меня не бойтесь...

Едва дверь за ними затворилась, как образ недоступной Анеты проступил из полумрака, черт бы его побрал! Она бесшумно проскользила по комнате и остановилась возле, сопровождаемая столь же молчаливой толпой счастливых удальцов, для которых не существовало ни раздумий, ни раскаяний, ни бесплодных восклицаний и ни наивных надежд. Они стояли тесным полукругом, сытые, надушенные, покрытые гладкой блестящей чешуей, словно новые кресла праздничными чехлами. Они улыбались все одновременно, лениво и легко, и были столь облагодетельствованы природой, что пренебрегали даже малыми ухищрениями, чтобы выпросить у нее какие-нибудь дополнительные блага. И это, вероятно, следовало ценить в них и даже поощрять, оставаясь безвыходно в своей высокомерной тени, откуда все так хорошо видно.

Его не удивило ее внезапное появление. Напротив, с несвойственной ему деловитостью он пустился с нею в рассуждения о самых низменных и будничных страстях, словно канцелярист о писчей бумаге, в которой нынче множество мусору: щепочек, палочек, опилочек, прочей шелухи-с, об которые тупятся перья и бывают кляксы... «Ты пришла, так отправь своих красавцев прочь, вели им выйти, и давай займемся скучным вздором (ведь никто не смог придумать ничего нового), чтобы было что вспомнить завтра».

«Хорошо, – сказала она и велела всем удалиться. – Вы довольны? Однако вам должно быть известно, что моя жизнь все-таки зависит от них, как бы я тому ни противилась. Я – цветок. Они же – мои пчелы. Сейчас я с вами, а они там, за окнами, гудят, и мечутся, и мы это называем безумием, отчаянием, страстью, гибелью...»

## 11

«...горечь, граничащая с отвращением, и тут же восторженное преклонение. Безвкусица, готовая свесить с ума, и крайняя утонченность... Нет, тут что-то есть! Я готов биться об заклад, что я именно влюблен, как ни в кого еще доселе, но сомнения мешают мне быть твердым».

Так записал Мятлев в своем дневнике 3 декабря 1844 года.

«...Нет, это не любовь. Я боюсь встретиться с нею. И что мне эти пошлые разговоры о бароне и прочих чудесах?.. Вчера вечером случился дождь, от зимы ничего не осталось. «Помнишь ли труб заунывные звуки...» Откуда это?.. «...брызги дождя, полусвет, полутьму?..» Не понимаю, откуда, но, кажется, слышу звуки этих труб, а заслышав, готов встрепенуться даже... да не напрасно ли. Нынче утром под окнами носился господин ван Шонховен. Я обрадовался ему, как родному, звал, манил, но он не внял...» – это уже 6 декабря.

*«9 декабря*

...сказала, что я не такой, как все. Будто это плохо. Нет, я такой же, но в этом есть известное неудобство, с которым она может мириться, а я нет. «Зачем вы так переделали дом и почти не бываете в свете?» Ну и что же. Будто бы я умышленно бросаю им вызов и тому подобное...»

*«11 декабря*

...Еще не столь я оскудел умом, чтобы новых благ и пользы домогаться... Прямолинейная честность древних умиляет, но каждое время пользуется своими средствами выражения ее... Зришь ныне свет, но будешь видеть мрак... Скажите, пожалуйста, какая новость. Гений Амилахвари в том, что, все понимая, он ничего не предпринимает. Он жалуется на лень, но жалуется с гордостью за себя. Граф С. рассказал мне по секрету, что недавно в узком кругу Царь благосклонно упоминал моего отца, но тут же помрачнел и сказал, ни к кому не обращаясь, но так, чтобы все слышали, имея в виду меня: «Вот вам пример увядания рода: яблоко упало далеко от яблони. Лишь пьянство и разврат. Мы еще услышим о нем. Я предвижу самое худшее...» Какое свинство!.. Теперь остается подать в отставку и к черту! Наберу книг и уеду с Афанасием на Кавказ... О Анета!..»

*«14 декабря*

Печальный день! Почти двадцать лет заточения минуло. Великолепные мои предшественники превратились в дряхлых инвалидов или умерли, а конца их пребыванию в Сибири не видно. Их боятся до сих пор; их боятся, меня презирают, хромоножку ненавидят... Тем временем я сгораю от вожделения. Сгораю, как прыщавый мальчик. Боже, какая у нее кожа! Неужели еще возможны открытия?..»

*«16 декабря*

...Добродетели – плод нашего воображения, с их помощью мы облегчаем наше совместное существование... Есть грубая прелесть в додонских жрецах (селлах), в их обязанности не мыть ног и спать на голой земле... Вчера я был зван к Фредериксам. Сердце трепетало, но через полчаса ее заурядный тон успокоил мою кровь. Барон делает вид, что ему вообще наплевать на все, кроме его государственных доктрин. Он утверждает, что интересы личности не могут возвышаться над интересами государства... Все зависит от сварения желудка; у меня так, а у него эдак...»

*«17 декабря*

Государь глядит на меня волком, каждый считает своим долгом при встрече со мной дать мне понять, что я бяка...»

## 12

Наше блистательное увлечение письменным словом началось в середине екатерининского царствования. Некто вездесущий смог вдруг уразуметь, что посредством этого инструмента можно не только отдавать распоряжения, или сообщать сведения о своем здоровье, или признаваться в любви, но и с лихвой тешить свое тщеславие, всласть высказываясь перед себе подобными. Боль, страдания, радости, неосуществимые надежды, мнимые подвиги и многое другое – все это хлынуло нескончаемым потоком на бумагу и полетело во все стороны в разноцветных конвертах. Наши деды и бабки научились так пространно и изысканно самоутверждаться посредством слова, а наши матери и отцы в александровскую пору довели это умение до таких совершенств, что писание писем перестало быть просто бытовым подспорьем, а превратилось в целое литературное направление, имеющее свои законы, своих Моцартов и Сальери. И вот, когда бушующее это море достигло крайней своей высоты и мощи, опять некто вездесущий зачерпнул из этого моря небольшую толику и выпустил ее в свет в виде книги в богатом переплете телячьей кожи с золотым обрезом. Семейная тайна выплеснулась наружу, наделав много шума, причинив много горя, озолотив вездесущего ловкача. Затем, так как во всяком цивилизованном обществе дурной пример заразителен, появились уже целые толпы ловкачей, пустивших по рукам множество подобных книг, сделав общественным достоянием множество надушенных интимных листков бумаги, где души вывернуты наизнанку. С одной стороны, это не было смертельно, ибо огонек тщеславия терзает всех, кто хотя бы раз исповедался в письме, но, с другой стороны, конечно, письма предназначались узкому кругу завистников или доброжелателей, а не всей читающей публике, любящей, как известно, высмеивать чужие слабости тем яростнее, чем больше их у нее самой... Но этого мало. Высокопарная болтливость человечества была приманкой для любителей чужих секретов, для любителей, состоящих на государственной службе. Они тут же научились процеживать суть из эпистолярных мук сограждан, поставив дело на широкую ногу и придав ему научный характер. Из этого нового многообещающего искусства родились Черные кабинеты, в которых тайные служители читали мысли наших отцов, радуясь их наивным откровениям. Перлюстраторов было мало, но они успевали читать целые горы писем, аккуратно и добропорядочно заклеивая конверты и не оставляя на них следов своих изысканных щупалец. Однако как всякая тайна, так и эта постепенно выползла на свет божий, повергнув человечество в возмущение и трепет. Шокированные авторы приуныли, литературное направление погасло, исчезла божья искра, и эпистолярный жанр теперь существовал лишь в узкопрактическом смысле.

Однако мысль уже была разбужена. Сердца бились гулко, потребность в выворачивании себя наизнанку клочкотала и мучила. Куда было ее обратиться? Тут снова нашелся некто, который надоумил своих собратьев заполнять чистые листы исповедями без боязни, что эти листы предстанут перед судом современников или будут осквернены щупальцами деятелей Черных кабинетов. И началась вакханалия! Так родились дневники. Конечно, это вовсе не значит, что в былые времена пренебрегали этой возможностью: и в былые времена провинциальные барышни или Вертеры доверяли бумаге свои сердечные волнения, а напoмаженные дипломаты описывали впрок повадки королей или собственное ловкачество. Но в подлинное искусство дневники превратились совсем недавно, и боюсь, что лет эдак через пятьдесят, когда действующие лица современных записей будут мертвы, издателям не отбиться от нагловатых внуков нынешних скромных исповедников.

Они писали для себя, сгорая на медленном огне своих пристрастий или антипатий, они тщательно оберегали свои детища от посторонних взоров в сундуках и в закладках, в секретных ящиках столов и в стенных тайниках, на сеновалах и в земле, но при этом, как бы

они ни старались уверить самих себя, что это все должно умереть вместе с ними, они, не признаваясь в этом себе, исподволь кокетничали с будущим, представляя, как опять некто вездесущий много лет спустя обнаружит в густой чердачной пыли эти скромные листки, изъеденные ржавчиной, и прочтет, и разрыдается, восхищаясь страстной откровенностью своего пращура. Ведь не сжигали они листки, исписав их и выговорившись, и не развеивали пепел по ветру, а покупали толстые альбомы в сафьяне и приспособляли медные дощечки, на которых искусный мастер гравировал их имена, и звания, и даты рождения, за которыми следовала некая черточка – маленькая, скромная, но уверенная надежда, что кто-то позаботится и проставит печальную дату расставания с этим миром. Вот что такое дневники и их авторы в нынешний век. Правда, мой князь и все, коих я люблю и любил, были счастливым или несчастным исключением из правила, хотя также отдали дань сему искусству, но не придавая особого значения форме, не заботясь об изысканности стиля, не задумываясь о происхождении этого популярного в наш век жанра и не надеясь на горячую заинтересованность потомков в их судьбе.

## 13

*«19 декабря*

...хромоножка прискакал в Петербург из своей глуши. Ему не разрешено проживать в северной столице после парижского скандала, – так он нагрянул, подобно шпиону, с накладной бородой, в почтовой карете. Хромает еще пуще. Весь кипит от злобы и грозит Государю скандальными разоблачениями. Его острый ум мне близок, но злоба делает его смешным, а необузданное тщеславие и заносчивость – труднодоступным. «Я с моим умом создан для больших свершений, а не для того, чтобы гнить в глуши... Нет, при Николае вмешиваться в политику – значит угодить в Сибирь. Кому от этого польза?..» Действительно, какая уж тут политика. Мне наскучили мои сотрапезники и пустая болтовня. Есть три кита, на которых покоится нынешнее мое существование: книги великих скептиков, молчаливое распивание водки с Амираном Амилахвари и размышления об Анете: придет или не придет?.. Нынче господин ван Шонховен швырял снежки в окно, покуда Афанасий за ним не погнался!..»

Упоминаемая же им баронесса приблизительно в те же дни записывала в альбоме следующее:

*«...декабря 1844 года*

...Барон слишком погружен в свои политические изыскания, чтобы придавать серьезное значение такой мелочи, как наш брак. Он забывает порой, что женщина – это стихия. Его безукоризненность крайне удобна, но, странно, огорчает. Сегодня у нас обедали князь А., протоиерей Московский; генерал Ч., дальний родственник поэта Т. Барон, как обычно, характеризовал текущие события и втягивал присутствующих в политические разговоры, что не все принимали с полной охотой... Мужское притворство незаметно лишь им самим. Я в этом убедилась, наблюдая за Мятлевым... Я бы не поверила рассказам, ежели бы сама не ощутила благосклонности Государя ко мне. В последний раз он так открыто и долго смотрел на меня, словно запоминал. Я сказала об этом барону. Он, как всегда, притворился дремлющим. Зинаида влюбилась в генерала П. Процесс этот в ней так бурен, что призывали врача, т. к. ей было плохо от страданий. Самое ужасное, что это все вполне искренне. А ведь так нетрудно и сгореть. Нужно ли все это?»

*«...декабря*

...Нынче утром барон уехал сопровождать Государя в Тверь. Когда я представляю Его высокую фигуру и улыбку снисходительного божества, мне становится не по себе. Я должна встретиться с Мятлевым и дать ему понять... подготовить его... Надеюсь, в обморке он не будет. Не забыть бы заказать у Плюшара «Живописный сборник». Времени не хватает ни на что...»

*«...декабря*

...Нынче у меня завтракали г. Л. и граф Н. с супругой. Граф Н. сказал, что у нас самая сильная армия в мире. Этого следовало ожидать.

В нынешние времена Наполеоны невозможны. У нас не может быть равных соперников. У меня страшная мигрень после вчерашней ночи. Мятлев с его умом и происхождением мог бы достичь многого, но лень, пренебрежение к жизни и отсутствие всяких общественных добродетелей погубят его. Барон воротился из Твери в задумчивости. Может быть, там решалась моя судьба?..»

*«...декабря*

...Я не жалею, что была снисходительна к Мятлеву. Он притворялся. Я не пыталась его разоблачить. Однако я замечаю, как сквозь притворство вырисовывается подлинная страсть... Вчера Государь как бы вскользь поинтересовался у барона, отчего он прячет меня... Вот странно! «Что же вы ответили Государю?» – спросила я, глядя на его растерянное лицо. Приятно видеть его растерянным! И жалко... «Я сказал, что мне лестно проявление его интереса», – ответил он. Что же последует?.. Нынче я отказалась ехать в оперу под предлогом мигрени. Барон был совсем растерян и поехал один...»

## 14

Да, резон в моих опасениях был, и не случайный. Расставляя перед Мятлевым свои потешные и не слишком притязательные сети, баронесса не забывала и о главной цели и только и ждала благоприятного сигнала от нее. Она никак не могла забыть, как однажды на балу, после того как государь протанцевал с нею, его взгляд всякий раз отыскивал ее в самой гуще упоенных дам и кавалеров и мягкий свет его больших глаз достигал ее и не велел о нем забывать. В торжественном и жадном легкомыслии двора это не могло остаться незамеченным и вскоре стало достоянием многих. Почувствовав угрозу, я и попытался как-нибудь потоньше намекнуть моему князю, что ситуация складывается не в его пользу. Он не придавал значения моим намекам. Они не охладили его, даже напротив – распалили, однако развязка обещала быть скорой.

Действительно, как я и предполагал, вскоре прелестный, но ненадежный экипаж любви, в котором князь катил со своей страстью, ринулся с крутой горы и разбился в щепки. Мятлев посетовал вслух на свою неудачу, не забыв упомянуть имени своего соперника на исповеди, рассказав священнику о мучившем его чувстве ненависти к некоему Николаю.

– Кто сей муж?

– Мой сосед и дворянин, – отвечивал Мятлев шепотом.

– Смирись и прости его.

Выходя из церкви, Мятлев горько рассмеялся. Проделка отдавала мальчишеством, а свежую рану не залечила. Князь почувствовал себя еще более униженным. Из церкви он отправился пешком, чтобы охладиться на январском морозе. Однако, хоть и было солнечно, ветер проникал в душу, и шинель, подбитая мехом, почти не спасала от ледяных игл. Вдобавок ко всему, усиливая сумятицу в чувствах, все явственней раздавался за спиной тяжелый скрип чьих-то шагов, словно тайный соглядатай неотступно брел следом. Пешеходов было мало. Мятлев несколько раз оборачивался, скрип тотчас прекращался. Он останавливался на миг, шаги смолкали. Двигался дальше, и они возникали вновь, ни ближе, ни дальше, и звучали они отчетливо и тяжело и вразнобой с его собственными, нечеткими и торопливыми. Он крикнул извозчика, прикрыл озябшие ноги ветхой стеганой полстью и, едва лошадь тронулась, вновь услышал знакомый скрип. Лошадь побежала – шаги зачастили. Он в отчаянии обернулся, и они отстали и заглохли.

Дома он распорядился запереть двери покрепче и никого не принимать, кроме разве «той дамы», меня да хромоножки, ежели вдруг объявится в Петербурге.

Он словно предчувствовал: хромоножка не замедлил явиться, в комнате швырнул шубу Афанасию, а когда тот удалился, сорвал накладную бороду, чмокнул князя в бледную щеку и при этом усмехнулся.

– Целую вас в щечку. Примите скромный дар изгнанника. В этом государстве, чтобы не сказать хуже, вы единственный, кого мне не противно целовать... Хотя этот акт – не самое приятное, что можно подарить такому прекрасному одиночке, как вы... Да у меня и нет ничего кроме этого. Одно достоинство, чтоб не сказать хуже...

Он выслушал рассказ Мятлева о злополучной его любви и скривился.

– Я вас любил за то, что вы холодны ко двору, а вы, чтоб не сказать гаже, сунулись в это стойло. Или вы в самом деле испытываете восторг? Вы ходили к этой даме напомаженным? Да?.. Болтали вздор? Ради чего? У нее что, бюст хорош?.. (Действительно хорош, подумал Мятлев.) И вы там мямлили всякую околесицу... А этот, чтоб не сказать хуже, наместник бога на земле, блюститель нравственности и морали, наш Медведь, который больше всего боится ограничения собственной власти, этот-то, вы знаете, как он разговаривает с женщинами, с женщиной, которая, чтоб не сказать хуже, ему приглянулась? «Подойди ко мне,

милашка (князь ловко скопировал позу Николая Павловича). Ну-ка, ну-ка, покажись. Да ты прелесть! Где это тебя до сих пор прятали? Ха-ха... Уж не от меня ли» – «Я счастлива, ваше величество!..» – «Разве от меня можно спрятаться? Ну-ка отвечай!..» – «О, ваше величество!..» – «Ну, ладно, ладно, вижу, как ты сгораешь... За чем же дело стало? Идем ко мне в комнаты... Только, пожалуйста, сделай вид, что ты идешь познакомиться с моими портретами!..» – «О, ваше величество!..» – «Ты бывала у меня в комнатах? Нет? Так смотри же, как скромен твой монарх. Подойди поближе, поближе, я тебе говорю... Это что у тебя там, а?..» – «Ах, ваше величество!..» (Мятлев расхохотался.) И тому подобное, чтоб не сказать хуже. А прекрасный князь льет слезы, представляя, как его даму ведут к тирану под штыками... Да они все потаскушки и только и ждут счастливого случая. Им нужна грязь... Они все там – смесь монгольской дикости, византийской подлости, прикрытых европейским платьем. Смесь необразованности с самоуверенностью. А вы-то!..

История князя Андрея Владимировича Приимкова, или хромоножки, как за глаза и беззлбно называл его Мятлев, была поучительна.

Представитель одного из древнейших родов, обладатель значительного состояния, он был человеком, обойденным судьбой и потому глубоко несчастным. Высокий ум в соединении с заносчивостью, стремление к знаниям и самонадеянность, безумный огонь тщеславия и неказистая внешность в сочетании с давней хромотой, апломб и одновременно манера держать себя без достаточного достоинства – какое сумасбродство природы! Учился он блестяще, в нужный момент не сумел угодить, и фортуна от него отвернулась, уже в ранней молодости, прервав его стремительную карьеру, ибо в нашем высшем кругу, как известно, по одежке встречают, а по уму выпроваживают... Женщины им пренебрегали, политическая карьера сияла другим. Он решил посвятить себя науке, ибо занятия политикой при независимости суждений были чреваты опасностями. За что же он принялся? Великолепная память, действительно незаурядные способности и жгучая обида на двор, презревший его, привели молодого князя к изучению генеалогий дворянских родов России, к проникновению в подноготную их. Описание родословных древ было занятием любопытным и до известной степени безопасным.

Наконец появился в свет сборник заметок, именуемый «Российские древа», что было замечено обществом с удивлением и одобрением. Маленький успех вскружил голову молодому гению. Окрыленный, он отправился в Париж, где титул и научные изыскания сделали его на первых порах желанным в высших кругах французского общества. Под псевдонимом он издал книгу, в которой поделился с французской публикой сведениями о важнейших дворянских родах, используя всевозможные запрещенные факты, не лишённые политической остроты. Распоясавшийся молодой гений был счастлив, что сумел сообщить в своих изысканиях замалчиваемую подробность о великом князе Михаиле Романове, который в семнадцатом веке под присягой принял конституционную хартию, предложенную ему земским собором. И она просуществовала в России в течение шести лет! Кроме того, он проехался по адресу безнравственности Петра Великого и его окружения, то есть задев прадедов нынешних своих врагов, не забыл упомянуть и современных вельмож, имевших в жизни своей касательство, с одной стороны, к убийству Павла I, а с другой – к осуждению декабристов. Короче, разразился невообразимый скандал. Одни были возмущены его политическими разоблачениями, другие – антипатриотизмом, третьи же, как это ни смешно, гневались, что их фамилий не оказалось в скандальной хронике. Ему велено было вернуться в Россию. С тайным страхом в сердце князь отправился в Петербург, где его судьба внезапно разрешилась сравнительно мягко. Современники ожидали для молодого автора, по крайней мере, сибирской каторги, а ему всемилостивейше было разрешено проживать в государстве, во всех его частях, за исключением, правда, северной столицы. «Его величество не упускает из памяти, с какой готовностью вы воротились из Парижа», – заявили князю в Третьем отде-

лении. Однако, радуясь легкому наказанию, князь знал, что помогло ему: именно в это же время известный Головин прислал из Парижа составленный в очень резкой форме отказ вернуться на родину.

Теперь, проживая в тульском своем имении, князь изредка навещал запретную столицу, пользуясь накладной бородой, глубокой шапкой и наемным экипажем. Он приезжал на короткие сроки, обязательно навещал Мятлева, видя в нем возможного единомышленника, и, не объявляясь, уносился обратно, обогащенный отрицательными впечатлениями.

– Барон Фредерикс?.. Ах, этот... – скривился хромоножка. – Он не из германских Фредериксов, а из курляндских. Титул свой он унаследовал от двоюродного деда, чтоб не сказать хуже. Там была какая-то история... Но он обыкновенный прихлебатель, нет, не шпион, а прихлебатель, шпионство ему не с руки, чтоб не сказать хуже... Вы знаете мое отношение к нынешнему правлению, и я был бы рад услышать, что каждый второй обыкновенный шпион, но я стараюсь быть справедливым. В науке нельзя руководствоваться личными антипатиями. Хотя не исключено, что нас подслушивают... – хромоножка усмехнулся, – ваш человек, к примеру, или некто, висящий в дымоходной трубе вниз головой, – он выглянул в окно, слегка отогнув штору, – или вон тот одинокий мечтатель, который мерзнет под вашими окнами...

По улице, за оградой, действительно прохаживалась смутная фигура в длинном пальто, закутанная в башлык.

Мятлев нервно рассмеялся, вспомнив преследовавшие его тяжелые шаги.

– Что касается Афанасия, – сказал он твердо, – то вы дали маху.

Внешность Приимкова была далека от совершенства. Невысокий, худой, со впалой грудью, с лицом отчаявшегося монаха, с маленькими пронзительными, все отмечающими глазами, одетый в последней моды парижский костюм, отменно новый, но уже непоправимо измятый, Приимков являл собой зрелище незаурядное и грустное. Он любил поговорить, высказываясь и выплескивая накопившийся в душе яд, при этом отчаянно жестикулируя, однако передвигаться приучил себя медленно, скрывая хромоту.

– Ладно, ладно, Афанасий-Расфанасий, – сказал он, морщась, – я имею в виду шпионов вообще. Шпионаж в России – явление не новое, но крайне своеобразное. Европейский шпион – это, если хотите, чиновник известного ведомства. Вот и все. У нас же, кроме шпионов подобного типа (мы ведь тоже Европа, черт подери!), главную массу составляют шпионы по любви, шпионы-бессребреники, совмещающие основную благородную службу с доносом и слежкой, готовые лететь с замирающим сердцем на Фонтанку и сладострастно, чтоб не сказать хуже, докладывать самому Дубельту о чьей-то там неблагонамеренности. Шпионство у нас – не служба, а форма существования, внушенная в детстве, и не людьми, а воздухом империи. Конечно, ежели им за это ко всему же дают деньги, они не отказываются, хотя в большинстве своем, закладывая чужие души, делают это безвозмездно, из патриотизма и из патриотизма лезут в чужие дымоходы и висят там вниз головой, угорая, но запоминая каждое слово.

– У нас голландки облицованы мощным старинным изразцом, – засмеялся Мятлев. – Сквозь него не проникают звуки. Послушать вас, и жить нельзя.

Зерно, брошенное случайно, медленно проросло, и его бледные побеги уже показались из почвы, и Мятлев, как бы играя, притронулся к горячим малиновым изразцам, выпуклым и витиеватым. Он начал со стыдливой улыбкой выстукивать их костяшками пальцев, словно молодой и неопытный врач грудь обнаженной красотки, и ощутил, как что-то отозвалось в печной глубине, как будто вздрогнуло, словно и впрямь было молодым живым телом.

– Ну, вы прямо волшебник, – сказал он хромоножке, – там, кажется, действительно кто-то есть...

– Что? Кто? – встрепнулся Приимков. – Да вы что?.. А-а-а, так велите затопить все печи да ветоши туда, ветоши побольше, шишек хорошо бы, шишек бы! – Он проковылял к окну, отогнул штору. – Ну вот, и этот на месте. Вот черт!

– Послушайте! – вдруг крикнул Мятлев, кивая на печь. – Да вы только послушайте...

За плотной чешуей малиновых изразцов, где-то в самой глубине дымохода, что-то отчетливо зашуршало, заплескалось, треснуло.

Приимков прислушался, скривился по своему обыкновению и уставился на Мятлева пронзительными глазами.

– Ну, знаете... Да вы сошли с ума, чтоб не сказать хуже!

Мятлев хотел рассмеяться, но не смог. Он распахнул тяжелую дубовую дверь и выглянул в коридор. Из печной топки вылетали языки огня, освещая мрак. Афанасий, весь в красном, точь-в-точь дьявол, с красною же книгой в руках, поблескивал красными же зрачками и скалился в улыбке. Князь наговорил ему с полсотни торопливых слов, издеваясь над самим собой и топча себя, умолил его: немедленно, сейчас же, не откладывая, придумать что-нибудь, какую-нибудь дурацкую штуку, а они с хромоножкой тем временем понаблюдают сверху; только сию же минуту, мгновенно, покуда этот, внизу, еще не исчез и не оставил их в мучительной неизвестности.

Афанасий тут же оценил ситуацию, изысканно поклонился и, не переставая скалиться, исчез в красном дыму. Оба князя, задув в комнате все свечи, припали к окнам. Ранние зимние сумерки не успели еще загустеть, и все было хорошо видно. Неизвестный в башлыке продолжал медленно прогуливаться вдоль чугунной ограды, не обращая внимания на дом, словно погрузившись в какие-то несладкие раздумья. Из этого состояния вывел его стук калитки. Он вздрогнул и обомлел – перед ним стоял господин странного вида. Он был в легкой черной крылатке, в стоптанных валенках, на голове возвышался старинный поношенный цилиндр с высокой тульей, руки были в белых летних перчатках, тяжелая трость с набалдашником усугубляла его неправдоподобие.

Он снял цилиндр, приветствуя незнакомца в башлыке. Тот поклонился и проследовал дальше. Так они разошлись, дошли каждый до своего конца ограды, повернулись и начали сходитьсь вновь. У калитки они поравнялись, и господин снова приподнял цилиндр. Так повторилось несколько раз, покуда Афанасий (а это был он) не сказал человеку в башлыке:

– Как странно, если позволите, который уж год прогуливаюсь здесь, для моциону, а вас, сударь, вижу, если позволите, впервые.

Человек в башлыке нехотя остановился, пошмыгал красным носом, смахнул с него капельку, покрутил головой, но ничего не ответил.

– Уж не новый ли сосед? – продолжал меж тем Афанасий как ни в чем не бывало. – Вот мой дом, если позволите. Рад буду видеть вас у себя... Мне врач прописал моцион от сгущения крови. Когда на вечерней заре совершаешь его, кровь разжижается. И для печени, если позволите, очень полезно... – Он приподнял цилиндр. – Маркиз Труайя... С кем имею честь?

– Здесь князь Мятлев проживают, – мрачно сказал человек в башлыке.

– А я что говорю? – с достоинством отпарировал Афанасий. – Я что говорю? Поверите ли, сударь, три года назад печень моя была на вершок шире, чем ей полагается... Все ухищрения врачей не дали никаких результатов. Дворцовый врач, немец, если позволите, господин статский советник Кунце приказал мне совершать моцион на вечерней заре... Сразу полегчало... Да, с кем же имею честь?

Человек в башлыке был обут в потрескавшиеся холодные сапоги. Он, видимо, отчаянно замерз, ибо беспрерывно пристукивал ногами, приплясывал, топтался, взглядывая на Афанасия то со злобным отчаянием, то с испугом, то с мольбой.

– А после моциону, если позволите, – продолжал Афанасий, – я тотчас бегу в дом, к печке, принимаю бодрящих напитков, грею спину и душу. С кем же имею честь?

– Каких напитков? – спросил очолевший незнакомец и стряхнул новую капельку с носа.

Афанасий не торопился. Он взял несчастного под руку, подтолкнул и медленно повел вдоль ограды.

– Я, если позволите, водку эту не люблю, – сказал он доверительно. – От водки мигрени по утрам, опять же вздутие и прочая чертовщина. После моциону, когда вас морозцем пробрало, вам надлежит принять грог...

– Не слышал, – сказал незнакомец, сотрясаясь от холода.

– Сударь, – остановился Афанасий, – не лучше ли нам пройти в дом, где я напою вас грогом? Клянусь, не пожалеете. (Незнакомец поспешно отдернул локоть.) Впрочем, ежели вам нынче недосуг, мы совершим это завтра. Ведь вы, если позволите, теперь каждодневно будете здесь прогуливаться, и я тоже... Давайте уж запросто по-соседски. (Человек в башлыке отступил на несколько шагов.) А вы мне нравитесь.

– До свиданья, – прохрипел незнакомец, – премного благодарны, – и двинулся прочь, почти побежал.

Оба князя с нетерпением ждали Афанасия. Они потребовали подробного рассказа о свидании, и горячо одобрили поведение Афанасия, и посмеялись над незадачливым шпионом.

– Знай наших, – сказал хромоножка восхищенно. – Ай да Фонарясий!

– Афанасий, если позволите, сударь, – поправил слуга, церемонно откланялся и вышел.

– Вот видите, князь Сергей, – проговорил хромоножка вдохновенно, – вот видите, какая живая иллюстрация к моему рассказу. А вы растяпа, чтоб не сказать хуже.

## 15

...Кстати, после той идиотской дуэли мы расположились с Мятлевым в его комнате в покойных креслах, обитых голландским ситцем, пружины в которых уютно и отдаленно позванивали, в комнате, где пять венецианских окон горели под осенним солнцем и на золотом фигурном паркете пылало пять бесшумных костров, в которые были погружены наши ноги.

Мы сидели, подобно кочевникам, изогнувшись, расслабленно раскинув руки, полуприкрыв глаза, и пили ледяную водку, и крепенькие молодые огурчики свежего посола с хрустом раскалывались на наших зубах. Мы молчали, заново, уже в который раз переживая собственную жизнь, выживая со дна сознания те ее блестящие осколки, которые уже начинали тускнеть, подернувшись ряской забвения. Изредка мы взглядывали друг на друга, и тогда передо мной вспыхивала внезапная обворожительная и чуть-чуть виноватая его улыбка, словно мы одновременно думали об одном и том же, и он стыдился своих воспоминаний.

О, если бы возможно было чудо!.. Но мы, люди просвещенные, не склонны к суевериям и надежд на чудеса как будто не возлагаем, хотя, покопайся в наших душах, в них обязательно отыщется нечто, заимствованное нами от наивных и темных наших предков, нет-нет да и мелькнет в холодном и расчетливом сознании надежда на возможное чудо. Вот так и я, понимая, что моя далекая обожаемая сестра никогда не может стать княгиней Мятлевой, ибо это ничего ей, кроме несчастья, не принесет, втайне иногда представлял, что внезапное исцеление моего князя, пересечение земных путей, благоприятное расположение светил и благорасположение Господне вдруг соединит их сердца и очистит их души. Действительно, когда бы не вечное и неизлечимое смятение Мятлева и не обет Марии, обрекший ее на пожизненное одиночество после гибели в Чечне любимого ею Котэ Орбелиани, когда бы он способен был полюбить глубоко и сильно, а она позволила бы себе отказаться от клятвы... но чудес не бывает.

Над нами простиралась по всей стене чужая, далекая страна, и давно минувшее время завершало свой горестный оборот, и горсточка обреченных скуластых туземцев все так же не помышляла о своем скором и неминуемом конце. И там, в этой обреченной толпе, по-прежнему выделялся человек с европейским лицом, высоколобый, со взглядом, исполненным благородства, но в этом взгляде уже таилось предчувствие гибели и бессилие перед неумолимостью природы. Конкистадоры со злодейскими физиономиями подкрадывались к ним с левого края полотна. Им уже мерещились запоздалые крики раненых, и стоны умирающих, и смуглые остывшие тела. Они уже в мечтах распределили между собой добро туземцев, которое должно было попасть к ним в лапы: тяжелые золотые слитки и нечистоплотные индейские жены, которых они мысленно уже обнимали, не брезгуя, ибо сами имели еще смутное представление о чистоплотности. Грязные, вшивые сорочки с кружевными воротниками и башмаки с деревянными пряжками вызывали в них чувство превосходства и придавали им храбрости. Их бородатые и немые лица казались им верхом совершенства. Холопы у себя на родине, привыкшие зависеть и повиноваться, не раз битые кнутом и терпевшие насмешки аристократов, они сладострастно мечтали о власти и с упоением торопились заполучить ее хотя бы здесь, на этом чужом беспомощном берегу. Лишь миг оставался до того момента, когда должна была удовлетвориться их беспощадная жажда насилия и власти, а те, по-детски доверчивые, гостеприимно протягивали к ним свои смуглые руки, не подозревая, что уже обречены и что райские врата – это единственное, на что они могут рассчитывать.

Господа, наша высокородность и изощренный состав крови, утонченное воспитание и изысканность манер, наша приверженность к философии и благородный блеск глаз, даже

и это все не ограждает нас от ненасытного микроба холопства, проникающего в наши души самыми невероятными путями. Где же защитные средства от него и что сулит нам избавление? Неужели род человеческий, совершенствуясь, не в силах противостоять этому ничтожному существу, разъедающему племя людей? Поглядите вокруг и на самих себя. В самонадеянном своем раже мы проглядели, что и нас уже коснулась эта зараза и мы в наш-то золотой век, когда корабли движутся с помощью пара и уже локомотивы дымят и мчат нас вместо медленных, капризных и хрупких экипажей, когда мысль человечества устремляется в небеса, надеясь снабдить нас прозрачными крыльями, в наш-то золотой век, когда литература уже достигла обнадеживающих высот в строках Александра Пушкина и ныне здравствующего господина Тургенева, выше которых уже ничто не возможно, – неужели в наш-то золотой век мы, подобно темным предкам, с тайной ненавистью к собрату своему тоже стремимся самоутвердиться за его счет; и зависть, и злоба, и страсть подавлять – неужели это все, чем мы владеем? Так где же совершенство? В чем оно? В изяществе нарядов? В умении приподнять цилиндр? Пусты наши души и холодны глаза перед лицом чужой жизни. С самого раннего детства мы точим оружие друг против друга, и каждый тайно надеется, что именно ему повезет и судьба именно его великодушно и торжественно возведет надо всеми. И этот ничтожный микроб, разъедающий наши внутренности, принуждает нас лицемерить и лгать, изворачиваться и подбострастничать, чтобы приблизиться и наконец вонзить нож в мягкую спину врага, а после, поплясав на трупе, провозгласить себя единственным... И для этого, только для этого мы не ленимся ковать стальное смертоносное оружие, и мы с восторгом изучаем искусство владения им и поощряем сами себя в этом, с восхитительной наглостью утверждая, что это якобы в целях самозащиты. Когда же нам удастся использовать его, мы используем его с легкостью и торжествуем, видя себя еще на шаг продвинувшимися к заветной цели. Но этого нам кажется мало, и рядом со стальным оружием мы носим при себе набор прекрасных и испытанных средств: ложь, клевету, угодничество, которые не страшнее кинжала. И так всегда. Что же цивилизация? Почему же она не облагораживает, и не очищает, и не излечивает нас?... Во все века и времена рождаются одинокие гении, которых не заботит жажда власти и насилия над другими, но они сами становятся жертвами собственных братьев, которые клянутся впоследствии их святостью, собираясь на очередное темное дело. История идет вперед, цивилизация хорошеет и самодовольно показывает себя со стороны фасада, за которым по темным углам продолжают убивать беспомощных гениев, выжимая их и беря у них для собственных удобств плоды их мучительной, вдохновенной и короткой жизни.

## 16

«...Как вам понравится известие о том, что этот человек, пренебрегая приличиями, пролез в семью всеми уважаемого господина барона Фредерикса и оставил там весьма недвусмысленные следы своего злодеяния? Конечно, госпоже Фредерикс следовало бы относиться к его притязаниям с большей сдержанностью, но это лишь усугубляет его вину, подчеркивая его настырность и отсутствие всяких устоев. Мало того, он так задурил ей голову, что она почти открыто навещала этого человека в его развратном доме.

Почему я пишу об этом? Казалось, мне не следовало бы совать свой нос в чужую личную жизнь, но отчего же, позвольте спросить, в то время как большинство верноподданных старается из последних сил принести пользу своему отечеству, такие, как этот человек, противопоставляя себя остальным, погрязают в разврате, в ничегонеделанье, разрушая святые устои нашей жизни?..»

*(Из анонимного письма министру двора его величества.)*

## 17

Мятлев молчал, отсиживался дома, почитывал своих греков и как будто не вспоминал злополучную историю. Лишь однажды наедине с собой попытался позлословить на эту тему, но саркастическое искусство хромоножки было ему чуждо, и его легкие стрелы относил ветром.

Сразу же после разрыва с баронессой Мятлев испросил себе полугодовой отпуск, ссылаясь на старую рану. Прощение пошло по инстанции и достигло государя. Мы с замирающими сердцами ждали решения. Но, к счастью, все произошло без осложнений и даже, напротив, слишком поспешно, словно кому-то доставляло удовольствие хоть на время вычеркнуть князя из списка самых блистательных представителей гвардии. Тогда мы долго ломали голову, размышляя, что бы это могло значить, но потом согласились, что при всех тяжелых и угнетающих свойствах характера государя нельзя все же отказывать ему в стремлении хоть изредка быть великодушным. Однако при всем этом можно было, конечно, не сомневаться, что его орлиный взор достает далеко, добродетельное сердце горит не напрасно, а бодрствующий ум все помнит отменно.

– Вы еще молоды, – говорили Мятлеву, – а государь может воспринять это как вызов... Но корабль уже отвалил от берега, и не рисковать было невозможно.

Наступила весна. Все вокруг расцветало, набухало, радовалось. Невероятные ароматы земли и свежей зелени устремлялись в небо, и хотелось воспринимать мир с одной лишь прекрасной стороны. Однако Мятлев начал жаловаться вдруг на дурной сон, на постоянное предчувствие несчастья.

– Мне надо уехать, – сказал он, – куда-нибудь подальше, найти какой-нибудь прелестный уголок, где никого нету... Жить там, собирать гербарии...

О, где вы, прелестные уголки, куда не ступала нога человека и где можно собирать гербарии?!

Кстати, эти уголки становились почти неуловимы, и чем дальше, тем все меньше надежд оставалось их обнаружить, и, словно затем, чтобы рассеять жалкие остатки маячащего миража, поздним вечером в трехэтажной деревянной крепости Мятлева объявился неожиданный гость.

Мятлев принял гостя, как и полагалось старому несчастливому холостяку принять представителя иной, счастливой жизни, обремененного благополучием, благорасположением высших сил, обладателя ясных целей, здоровых мыслей и изящной самоуверенности.

Он приготовился увидеть знакомое невысокое рыжеватое сооружение из мундира и звезд, однако барон Фредерикс оказался в темном сюртуке да к тому же со странным клетчатым шарфом на шее.

Все оказалось проще, чем можно было бы предположить, и через десять минут они уже беседовали как старые знакомые, и барон не отказался от чая с ликером, а затем как-то незаметно перешел на водку, которую предпочитал хозяин.

– Вот видите, – сказал барон, удовлетворенно жмурясь, – как вы располагаете... Я уже не говорю об обеде, который у меня скромен и трезв и начинается с ботвиньи, а оканчивается апельсинами, что же касается до ужина, то его у меня попросту нет. Вот видите.

Мятлев не воспринял этих слов как полное ему прощение, однако настороженность его не усилилась. Во всяком случае сказанное бароном можно было вполне понимать как то, что он, произнося все это, не намерен примитивно сводить счеты. Какие уж тут счеты?

После второй рюмочки Мятлев смог позволить себе даже расслабиться и почувствовать себя равноправным в неторопливой мужской беседе. Уж если гость был не во фраке

и не при звездах, если он не начал с упреков или сетований, да если к тому же был тих и даже печален, словно сам провинился перед хозяином, так чего же было опасаться? Капризная тень баронессы не витала над ними. Разговор обходил ее стороной и готов был влиться в уже знакомое русло политических предчувствий, как вдруг с поблекших и будничных уст барона сорвались как бы ничего не значащие слова.

– Вот видите, – сказал барон, – здравомыслие позволяет нам с вами быть справедливыми и не прибегать к решительным мерам, тем более что решительные меры в подобных деликатных обстоятельствах обычно ничего не решают, – он засмеялся. – Мы теперь с вами одинаково отставлены, подобно двум старым стульям, которым предпочли кресло... Будем же расценивать это не как укор нашим с вами несовершенствам, а как гимн нашей заурядности. Лично я не обольщаюсь на свой счет... – И он впился своими полужакрытыми глазами в лицо князя.

Тут Мятлев понял, что от разговора не уйти, что это и есть тот самый разговор и что барон, еще более наладкавшись, начнет выкладывать все и, не дай бог, пустит слезу... И Мятлев отхлебнул как следует из своей посуды, чтобы нападение не застало его врасплох, но барон, как ни странно, заговорил о другом, уже более не упоминая ни баронессы, ни случившегося злополучного треугольника, в котором кто-то четвертый повисал в воздухе, не имея своего угла. И чем больше барон отхлебывал, тем все больше отдалялся в своем монологе от первоначальных страстей, и все больше розовело его свежее здоровое лицо, и, наконец, когда оно словно окончательно поюнело, приобретя однозначный вид, при котором море по колено, а слава нужна не для денег, а для души, барон сказал:

– Я всегда симпатизировал вам... Печальные темы, над которыми трудно шутить, мы предаем забвению... Как сказала однажды одна умная дама: постоянство – это продолжительность вкусов. Что?... Вот видите, мы с вами можем оказаться в качестве свидетелей еще одного подтверждения этой истины. Но не будем примитивно откровенны, а лучше прикинемся безумцами, чтобы не лишать себя права говорить.

В этом свободном, очаровательном и маловразумительном потоке признаний Мятлев усмотрел некоторый камуфляж, которым владелец незабвенной Анеты пытался прикрыть расстройство чувств. «Он, и верно, прикидывается безумцем, чтобы выговорить мне все и даже задеть меня... Да я не понимаю...» – подумал Мятлев.

Внезапно, прервав себя на полуслове, барон исчез так же, как и появился.

В течение нескольких дней воспоминания об этой встрече продолжали беспокоить Мятлева, однако все погасло, как стало известно, что у баронессы с государем ничего не вышло. То ли она ему не угодила, то ли он был не таков, каким его рисовали злые языки. Во всяком случае невразумительные сетования барона утратили свой смысл и его потуги на самопожертвование представлялись издали еще суетней и еще печальней.

## 18

Однажды на углу Большой Морской Мятлев отпустил коляску и пошел по Невскому, намереваясь посетить книжную лавку.

Стоял великолепный полдень середины весны, из тех редчайших полдней, которые особенно ценимы в суровом Петербурге.

Публики было довольно много, одежды были преимущественно ярких тонов, наполовину уже летних; оживленный говор бодрил. О печальном думать не хотелось.

Внимание князя было привлечено одной молодой дамой, которая заметно выделялась в толпе. Она двигалась навстречу князю слишком поспешно, обгоняя медленно текущий людской поток. На ней, в отличие от толпы, было глухое черное платье. Шляпа не покрывала ее голову и светлые волосы свободно опускались на плечи. Неподвижный взгляд был устремлен куда-то вдаль, словно она двигалась вслепую. Дама была довольно высока, стройна, легкая сутуловатость придавала ее облику отчаяние. Лицо ее показалось Мятлеву прекрасным и полным скорби. Он обернулся, провожая ее взглядом, но она как возникла, так и исчезла, смешавшись с весенней публикой.

Внезапно, как это тоже случается в Петербурге, косая тень откуда ни возмись напозла на беззащитное солнце, краски кругом померкли, и крупные капли дождя забарабанили по мостовой, по тротуарам, прибывая пыль и распугивая прохожих.

Послышались восклицания, смех, краски перемешались, всадники прищипорили коней, экипажи затарахтели оглушительней, кое-где над головами вспыхнули зонты, но дождь усилился, и все пешеходы ринулись в ворота домов, попрятались по магазинам, по кофейням, спасаясь среди случайных укрытий, кто где мог. А дождь все усиливался, и уже не капли, а стремительные струи со свистом впивались в землю. Начинался ливень, и где-то вдалеке прогрехотал гром.

При первых же каплях Мятлев забежал в кондитерскую и через стекло витрины стал наблюдать, как спасаются остальные. Невский, насколько хватало глаз, вымер. Разбушевавшаяся стихия одна господствовала на нем, да кое-где виднелись одинокие извозчики, которым некуда было укрыться.

И тут он снова увидел ту самую давешнюю молодую даму. Теперь она возвращалась обратно, не замечая потоков воды, не слыша грома; вода окружала ее сплошной стеной, отяжелевшее черное платье еще плотнее облегалo ее тонкое тело, еще заметнее обозначилась сутулость, но прекрасная голова теперь уже была опущена, и ступала молодая дама медленно, словно надобность торопиться отпала, охлажденная дождем.

Впрочем, дождь ли был тому причиной? Какие несчастья согнули это худенькое стройное тело? Какая жестокая тайна была сокрыта в глубине ее души?

«Ах, – подумал Мятлев по возможности спокойно, – еще одна жертва доверчивости...» Но молодая печальная дама медленно проплывала за стеклом витрины, окруженная потоками ливня, и нельзя было без боли глядеть ей вслед.

Чей-то пронзительный крик раздался неизвестно где: то ли в кафе, то ли на проспекте. В зале смолк оживленный говор и все стихло. Прогрехотал гром. Белое пламя лизнуло витрину. Тяжелая карета, единоборствуя со стихией, разваливаясь на ходу, вынырнула из-за угла. Четверка серых лошадей колотила копытами по воде.

Какая сила толкнула Мятлева из уютной кондитерской, непонятно, но он выбежал на проспект и тут же вымок до нитки. Карета стремительно накатила, Мятлев успел увидеть дикие глаза лошади, разинутую пасть фореитора, протянул руки и обхватил тонкое тело молодой дамы и потащил его прочь, хотя оно сопротивлялось, извивалось, билось, а ливень

бушевал, молния сверкала, удары грома слились в непрерывный грохот, пахло холодом, пена клокотала вокруг них, и каждый их шаг казался шагом в бездну.

– Сударыня, – позвал Мятлев, пытаясь ее образумить, но даже сам себя не расслышал. – Сударыня! – крикнул он во всю силу, но крик прозвучал едва различимо, будто захлебнулся в потоке воды.

Весь прочий мир утвердился в кондитерских и воротах домов и выглядывал оттуда с любопытством и отчуждением. Мятлев ухватил ее покрепче.

– Оставьте меня! – крикнула она.

Было мгновение, когда ему показалось, что она осиливает его. Они извивались под дождем в обнимку, и чаши весов застыли на одном уровне. Затем он с внезапным ожесточением, и сам уже полурастворенный в ливне, сумел одолеть ее и потащил за собой к спасительной трактирной двери, так счастливо вдруг проглянувшей сквозь мрак и вихрь. Он не ощущал ее сопротивления, не слышал, что она такое выкрикивала: угрозы, мольбы или слова благодарности. С упорством маньяка он втолкнул ее в дверь, раздвигая плечами толпящихся на пороге людей, давил им ноги, попадал локтями им в ребра, не слышал проклятий и все продвигался, пробивался с таинственной своей добычей туда, в самую глубину, мимо обомлевшего швейцара, который вдруг узнал князя и попытался ему поклониться, но не успел, так как безумный князь и вымокшая орущая ведьма пронеслись мимо, прямо на хозяйскую половину, и дверь захлопнулась за ними с оглушительным стоном.

Через мгновение в тесной душной гостиной оказалась прелестная компания: сам хозяин трактира Савелий Егоров, похожий на резво скачущий шарик, с наглостью и подбострастием во взоре; его чахоточная испуганная жена в напрасных папильотках; его молодящаяся разбухшая дочь, напоминающая формами отца, в голубом переднике и с подносом в пухлых руках; служанка с рябым лицом, и жандармский полковник фон Мюфлинг в мундире, изрядно пьяный; и еще какие-то люди, напоминающие одновременно и ближайших родственников хозяина, и случайных прохожих.

Савелий Егоров тотчас признал Мятлева по прежним его буйствам, и, хотя князь показался ему на сей раз невменяемым, он принялся резво кататься, кружиться, выкрикивать хриплым голосом распоряжения, и все вокруг него завертелось, загомонило, появилась вода в стакане на случай обморока, и уксус, и полотенца, и теплый халат, и грелка, и еще халат.

– Водки! – крикнул Мятлев, с силой усаживая свою разгневанную пленницу на диван кровавого цвета. – Да сядьте же!..

– Господа, выйдите отсюда, – сказала жена хозяина остальным.

Служанка подала рюмку водки, и Мятлев поднес ее неизвестной, сотрясаемой ознобом и рыданиями.

– Ваше сиятельство, – подкатился к Мятлеву Егоров, – сдастся мне, барышне бы лучше на женскую половину перейти...

– Конечно, – согласился Мятлев, – да вы сначала выпейте, сударыня...

**Незнакомка.** Не трогайте меня...

**Фон Мюфлинг** (*икая*). Б'дняжка...

**Жена хозяина.** Прошу всех выйти, прошу всех...

**Мятлев.** Выпейте, да пейте же...

**Незнакомка.** Подите прочь...

**Фон Мюфлинг.** Б'дняжка...

Дочь Егорова помогала выпроваживать публику. Незнакомка, не утирая слез, не опуская голову, молча рыдала, отталкивая рюмку с водкой. Тут снова ожесточение обуяло князя. Он кивнул хозяину, и они вдвоем запрокинули голову худенькому существу и влили ей в рот водку.

– Нет! – крикнула она и ударила себя маленьким кулачком по колену. – Нет, нет! – и снова ударила, да так сильно, по-мужски, и еще раз, и еще, била и кричала: – Ну что вам от меня надо?! Господибожемой, злодеи, разве я вас просила?.. Да не лезьте вы с вашими благодеяниями!.. Как вы смеете принуждать меня, господибожемой!..

– Сударыня, сударыня, – просил Егоров, с ужасом глядя на князя, – сударыня, позвольте проводить вас... в комнату, сударыня... к моей супруге... Там вам будет удобнее обсушиться... Сударыня...

– Господибожемой, какой ужас! – кричала незнакомка, ударяя себя по колену.

Но теперь уж Мятлев был исполнен такой решимости, что никакие мольбы и проклятия не в силах были его поколебать. По его властному знаку присутствующие женщины подхватили под руки это побледневшее, встрепанное, мокрое, рыдающее создание и, окружив плотным кольцом, повели утешать и обсушивать. Она уже не сопротивлялась.

«Господибожемой! Господибожемой!..» – звенело в ушах у князя, пока он сам, покинутый всеми, приводил себя в порядок. Действительно, «господибожемой» – поглядеть со стороны, какое насилие над бедной женщиной, какое свинство, «господибожемой»...

Вдруг дверь растворилась, и ввалился фон Мюфлинг. В его голубых мутноватых глазах плавало сосредоточенное недоумение.

– Князь, – проговорил он с трудом, – сдается, что э-т-та несчастная дама нждается в помщи... Я гтов...

– О, спасибо, благодарю вас, – заторопился Мятлев, – все будет отлично, не беспокойтесь, я тронут, это очень трогательно с вашей стороны...

– Првда? – сказал фон Мюфлинг. – Оч-ч-нь хшо, – и вышел, не сгибая ног.

Мятлева кликнули наверх, и он поднялся по шатким ступенькам в кружевную, канаречного цвета комнату супруги Егорова, где на кружевном диване, завернувшись в стеганный халат, сидела его дама. Входя, он очень боялся услышать ее негодующий крик, увидеть бледное лицо и взгляд, полный ужаса и презрения, но ничего подобного не случилось. Напротив, легкий румянец бежал по щекам, большие серые глаза со спокойным удивлением глядели на Мятлева, длинные светлые волосы, высохшие и густые, свободно покоились на острых плечах.

– Надеюсь, вам лучше? – спросил он осторожно.

– А ведь я пьяна, – сказала она просто, как старая знакомая, и засмеялась, и тут же прозрачное мягкое тепло заструилось из ее глаз.

– Вот история, – сказал Мятлев. – Вы так дрожали вся, вся были в ознобе... Нельзя было вас не пожалеть.

– С чего бы это? – усмехнулась она не слишком доброжелательно.

Голос у нее был низкий, цыганский, густой. В движениях исчезла торопливость. Казалось, что безмятежность никогда не покидала ее, а все, что произошло, произошло не с нею, и лишь то, как она придерживала халат, этот сжатый кулачок, похожий на детский, вцепившийся в материнскую юбку, лишь это настораживало: нет-нет, а где-то там что-то там кипело и каждую секунду могло вырваться, и чахоточная супруга Егорова пересчитывала в углу серебряные ложки и не думала уходить, а дочь Егорова, взгромоздив свое рыхлое тело на стул и приоткрыв рот, бесстыдно взирала то на князя, то на его даму.

Ложки звенели и мешали ей слушать разговор.

– Маменька, – морщилась она, – да будет вам!

– С чего бы ему меня жалеть? – сказала незнакомка. – Вы сядьте. Вот сюда можно, рядом, вы мне не помешаете. Я совсем пьяна, господибожемой... – и засмеялась. – Ну, что же мы будем делать дальше? Как вы намерены со мной?.. Что вы намерены?.. Он опять будет хватать... Вы опять будете хватать меня за руку, или я могу поступать как мне заблагорассудится? – и нахмурилась.

– Пожалуйста, – торопливо сказал Мятлев, – я хотел вам помочь... Разве так уж предосудительно мое желание оказать вам помощь, вам помочь?..

– С чего бы это ему мне помогать? Разве я его просила?.. Да я сроду его не просила, господибожемой... Я вас и не знаю, милостивый государь. Да что это с вами: схватили за руку на виду у всех. Вы что, всех так хватаете?

– Нет, не всех, – сказал Мятлев, как мальчик.

– Ах, не всех! Значит, я ему показалась... Значит, ему показалось... Ну, сударь, извините. Господибожемой, влили водку! Этого еще не хватало...

Вдруг он понял, что она замечательно хороша, просто чертовски хороша, особенно здесь, среди этих кружев, и этих женщин, и этих серебряных ложек, под этими низкими потолками, не ведомая никому, притворяющаяся, что опьянела; а надо было уходить, но она была так хороша, что это мешало откланяться и выйти.

Супруга Егорова все быстрее, все лихорадочнее пересчитывала ложки. Они уже звенели так, что слова были еле слышны. Подобно серебряным рыбкам, они, оглушительно грохоча и сверкая, пересыпались из ладони в ладонь, затем почему-то в миску, затем почему-то в ящик, и снова на ладонь, и из ладони в ладонь...

– Маменька, да будет же вам...

В раскрытую дверь вошел фон Мюфлинг на негнущихся ногах. Его голубой мундир на фоне канареечной стены сиял, словно кусочек неба в обрамлении увядшего лета.

– Я свршенно рстерян, – сказал он, пытаясь улыбнуться. – Обспокоен... Н-н-не нужно ли чво?

Незнакомка взглянула на Мятлева испытующе. Затем решительно прошла за ширмы.

– Оч-ч-чнь хшо, – удовлетворенно выговорил фон Мюфлинг. – Я велю пзвать извз... вз... звз... чка... – потом кивнул на ширму: – Бдняжка... – и исчез.

– Я вас прошу, – нараспев сказала она из-за ширмы, – прошу вас выйти вместе со мной... Уж ежели вы так добры и великодушны, так отчего бы вам не выйти?.. Отчего бы ему не выйти со мной?

– Да я жду вас, – обрадовался Мятлев, что все само собой разрешилось и видя в этом какой-то тайный сигнал.

– Интересно, с чего бы это ему меня ждать... – бубнила она, одеваясь. – Какой странный, господибожемой... – и кашлянула.

Медленно и торжественно, сопровождаемые тишиной (ибо серебряный водопад внезапно замер), они спустились с душевных кружевных небес и пошли сквозь любопытную толпу по живому коридору. Ей снова пришлось облачиться в сырое платье, и тело ее начал бить озноб. Егоров с аккуратной почтительностью катился вслед за ними.

Ливень давно прекратился, но тяжелые тучи висели над городом. Дул резкий холодный ветер, и уже не было вокруг радостной пестрой толпы, а лишь, венчая окончание присутственного дня, растекался теперь, куда ни глянь, поток серолицых людей в поношенных темных мундирах с медными пуговицами. Движения их были однообразны, походка шаркающая; запах подгорелого лука висел над проспектом, растекался по городу, возносился к небу, запах подгорелого лука, квашеной капусты и пота... Их тусклые глаза сливались в один, и в нем, этом громадном глазе, на самом дне его громадного тусклого зрачка шевелилось невзрачное счастье от предвкушения каждодневных благ, навеваемого запахом подгорелого лука.

На мостовой перед трактирной дверью уже стояла наемная карета с предусмотрительно распахнутыми дверцами. Возле нее покачивался, расплывшись в туманной улыбке, фон Мюфлинг, словно встречал гостей на пороге собственного дома.

– Пршу... – и подал незнакомке руку, и помог ей взобраться в экипаж, сам едва не упав при этом. Мятлев поблагодарил его, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Савелий Егоров тронул князя за плечо и шепнул ему по-свойски:

– Ваше сиятельство, вы не гневайтесь, однако мои дамы говорят, будто знают вашу даму: знаем, мол, ее... Ее будто все уже знают в том смысле, что она, мол, э-э... Ну, знаете, как про это говорят. То есть не только мои дамы, а и прочие... А я ведь знаю вашу доброту... – и засмеялся. – Знаем вас, ваше сиятельство...

– Бдняжка, – сказал фон Мюфлинг, поклонился и на негнущихся ногах зашагал обратно в трактир.

В экипаже она, не стесняясь, прижалась к Мятлеву содрогающимся телом; голову, пахнущую дождем, склонила ему на плечо, и ему ничего уже не оставалось, как обнять ее, и он обнял.

– Господибожемой, куда мы едем?

– Вы едете ко мне, – с твердой решительностью сказал он. – Буду до конца бесцеремонным.

Протеста не последовало, наоборот, какой уж тут протест. Она лишь вскинула голову, чтобы незаметно мельком заглянуть ему в глаза.

– Какой странный, даже не спросил имя... Какие у него руки горячие, господибожемой! Нет, нет, не убирайте... Да что это с вами? Не убирайте, я прошу вас... Долго ли нам ехать?.. И печь, и чай с вареньем?! Господибожемой, это ему ничего не стоит!.. И платье высушим?.. Какой странный: затащил в трактир, чуть руку не вывернул, напоил водкой насильно, напустил на меня каких-то грязных чудовищ, а теперь обнял... и теперь тепло, и еще обещает чаем напоить... – Она счастливо засмеялась. – Да полно, уж не сон ли. Ах, если бы грудь прикрыть от ветра...

Мятлев с поспешностью юнца обнял ее другой рукой.

– Какой странный, – засмеялась она, еще пуще к нему прижимаясь. – Даже не спросит, где я живу и не надо ли проводить меня домой... – Это она произнесла уже шепотом, и еще что-то вроде: самоуверенность, насилие, истязание, наглость...

## 19

Так бормотала, словно засыпая в железных объятиях счастливого Мятлева, двадцатидвухлетняя Александрина Жильцова, мало заботясь, куда ее может завести наемная петербургская карета.

Ее отец, Модест Викторович Жильцов, был похоронен заживо среди толстых тюремных стен далекого Зерентуя после известного события на Сенатской площади в декабре 1825 года. Неумолимая судьба сыграла с ним злую шутку, разлучив его, безвинного, с молодой женой, двухлетней дочерью и спокойной, добропорядочной жизнью.

13 декабря 25 года, за день до печального происшествия, прикатил он в Санкт-Петербург из своего калужского далека хлопотать по имению, которому грозили всякие беды. Будучи человеком общительным и добрым и имея множество друзей среди гвардейских офицеров, с которыми еще недавно служил перед тем, как выйти в отставку, он не преминул тотчас же по приезде навестить их. Не застав некоторых из них дома, он перенес визиты на следующий день и как раз четырнадцатого декабря сел в сани и отправился по адресам. На Сенатской площади он вдруг увидел каре Московского полка, окруженное толпами любопытных. Решив, что это очередное построение или смотр, и разглядев среди офицеров, разгуливавших перед каре, старых своих знакомых, он выскочил из саней и бросился к ним. Когда же наконец по прошествии некоторого времени он вдруг понял, что происходит, ибо, оторванный от всего в своей глуши, не мог предполагать ничего подобного, было уже поздно. Войска, которыми предводительствовал сам молодой император, окружили каре. Жильцов в ужасе перед происходящим успел кинуться прочь и благополучно добрался до гостиницы с одной-единственной мыслью побыстрее уложиться и на утренней заре гнать обратно в имение. И он действительно уложился, но покинуть столицу опоздал. Кто-то его увидел, кто-то сообщил, пошли слухи, и за ним явились. Видя в том несчастное недоразумение, Жильцов не спорил, надеясь на быстрое разбирательство. Его препроводили на гауптвахту, где он очутился в соседстве с незнакомым ему интендантом, также арестованным в связи с событиями. Через два дня интендант был приглашен для допроса, а возвратился сияющий и возбужденный. Оказалось, что его дело счастливо завершилось, ибо, как он рассказывал, выложил чистую правду, а те, мол, что пытались выкручиваться и оправдываться, о судьбе их даже страшно подумать.

– Так моя чистая правда – это полное неведение, – сказал, улыбаясь, Жильцов.

– Э-э-э, батенька, – засмеялся интендант, – все запираются, сказываясь несведущими.

А запирательство знаете чем грозит?

Действительно, на следующий день интенданта выпустили, а Жильцова повезли допрашивать. Конечно, он и не думал по врожденной порядочности и благородству отрицать, что в злополучный день оказался среди мятежников, так ведь это вот как получилось. Его попросили назвать имена знакомых офицеров, и он простодушно и даже с радостью их перечислил, ибо их все видели, а молчание могли расценить как запирательство.

– Имели ли вы сами когда-нибудь случай высказываться неодобрительно в адрес нынешних законоположений? – спросили его.

– Никогда! – с ужасом выкрикнул он.

Тогда его отправили обратно на гауптвахту, посоветовав ему не запирается, а, напротив, все тщательно припомнить, описать и тем самым облегчить свою участь.

Он пометался по своей тюрьме, пострадал, попричитал, размышляя о своей молодой жене, проклиная день, когда решился ехать в Петербург, который схватил его, безвинного, неумолимой пятерней, и принялся писать, припоминая все, что когда-либо думал о различ-

ных преобразованиях, которые помогли бы его отечеству еще более расцвести. Признание было отправлено, и о нем позабыли.

В течение долгих месяцев он напряженно ждал, что вот-вот за ним явятся, чтобы объявить ему о полной его невиновности, и представлял, как будет все это рассказывать и объяснять своей жене, которой он никак ничего не мог сообщить и которая, по всей вероятности, была в полнейшем отчаянии.

Наконец наступило лето и в комендантском доме Петропавловской крепости он с ужасом узнал, что лишен дворянства и осужден на двадцатилетнюю каторгу.

В течение нескольких дней после сентенции он пребывал как бы не в себе: никого не узнавал, к еде не притрагивался, разговаривал сам с собой и все время ходил из угла в угол, потеряв сон.

Его молодая жена, кое-как сводя концы с концами в маленьком имении, заложенном и перезаложенном, узнала наконец о судьбе, постигшей ее несчастного супруга, и пришла в сильное расстройство, так что уже никакие доктора и никакие снадобья не могли вернуть ей прежнего здоровья.

Заботы и хлопоты по воспитанию маленькой дочери еще придавали ей сил, а с мыслью о том, что он действительно тайно от нее участвовал в заговоре и теперь должен расплачиваться за тяжкие свои грехи, с мыслью этой она кое-как примирилась. Теперь она жила ради маленькой Александрины, стараясь дать ей приличное образование, как ни была стеснена в средствах.

Так пролетело несколько лет, как вдруг от него пришло предлинное письмо, и не официальной почтой, а переданное через десятки руки и, таким образом, миновавшее бдительные очи цензуры. И тут она узнала, как все воистину случилось с ее несчастным мужем и что он пострадал невинно и теперь, невинный, осужден на такие нечеловеческие муки. И это, и сознание собственной беспомощности перед лицом государства с его запутанными и сложными делами и намерениями – все это явилось последней каплей. В несколько дней она угасла. Имение вскоре было продано за долги, Александрину взяла в Москву дальняя и единственная родственница их семьи, и девочка начала новую жизнь, все время помня об отце, о котором столько слышала от матери, и мучительно надеясь на скорое его возвращение.

В Москве ей жилось неплохо. Ее жалели и многое ей позволяли. Она была несколько замкнута, но зато пристрастилась к серьезному чтению, любила музыку. У родственницы в доме проживал ее родной племянник, единственный ее наследник, милый юноша, студент университета. Шестнадцатилетняя Александрина внезапно и пылко влюбилась в него. Он отвечал ей взаимностью, и все бы, верно, сложилось хорошо, когда бы потерпеть злым силам и дать возможность молодым людям созреть и окрепнуть для совместного счастья, но отвратительный рок, облюбовавший себе семью Жильцовых, даже в московской неразберихе и суеде нашел свою жертву. После каких-то происшествий в университете несколько студентов, в том числе и возлюбленный Александрины, были отданы в солдаты. Спустя месяц на Кавказе в очередной перестрелке с горцами он был сражен насмерть, и Александрина в отчаянной откровенности призналась, что ждет ребенка. Случилась буря. Отношения с родственницей были порваны. Девушке было предложено покинуть дом, ибо ее поведение было расценено как посягательство на наследство.

Гордая Александрина хлопнула дверью, имея при себе небольшой сундучок с нехитрым скарбом и горькие воспоминания. Идти было некуда. Накапывал холодный осенний дождь. Лишиться всех надежд и крова в шестнадцать лет – могло ли быть что-либо ужаснее? Она решила дожидаться вечера, а дождавшись, торопливо побежала к Москве-реке по не менее торопливым и неоригинальным следам многочисленных своих предшественниц.

Неизвестно, можно ли было считать это счастьем, но чья-то сильная рука помешала ей осуществить трагическое намерение. Человек, спасший ее, оказался профессором медицины. Он дал ей выплакаться, девичье горе недолговечно, и вот перед ней, как по мановению волшебной палочки, открылась дивная страна. Профессор был вдовец, уже не первой молодости. Он жил в хорошей квартире на Пречистенке со своей маленькой дочерью. Им прислуживали горничная и кухарка. Он предложил Александрине поселиться в его доме, где у нее будет своя комната и все права члена семьи. За это она должна была заниматься с его дочерью музыкой и французским языком. После того как она стояла уже на пороге смерти, это предложение показалось ей столь неправдоподобным в этом суровом мире, что за него следовало платить только своей жизнью. Однако мысль о том, что она не призналась ему в главной своей тайне, вынудила ее отказать ему. Он не отступился. Он принял ее отказ, но все-таки уговорил Александрину поехать к нему хотя бы на сутки, чтобы привести себя в порядок, а там уж что бог даст. Она была в таком состоянии, что не воспользоваться такой не унизительной возможностью было бы глупо. И она согласилась.

Уже за полночь они вошли в его квартиру. Дочь спала. Горничная, ни о чем не спрашивая, приготовила ей комнату. В ней было тепло, уютно, пахло горячим воском и свежими простынями. Они поужинали вдвоем. Он был предупредителен и деликатен. Тогда она, набравшись смелости, раскрыла ему свою тайну. «Ах, это? – рассмеялся он. – И только?.. А я-то на что? Да вы и мигнуть не успеете, как ничего не будет». И она осталась.

Через неделю она была совершенно здорова. Чудесное снадобье лишило ее последнего, что осталось ей от прежней ее жизни.

Вскоре в одну из ночей он появился у нее в комнате в халате и со свечой. Она испугалась, попыталась сопротивляться, просила, но он молча скинул халат и грузно привалился рядом.

Шло время. Она занималась с девочкой, привыкла постепенно к своему жилью и к ночным посещениям пожилого мужчины. Профессор был высок, с приятной внешностью, со сдержанными, благородными манерами. По воскресеньям они посещали церковь, а затем гуляли по бульварам либо отправлялись в Сокольники.

Его ночные посещения, объятия, ласковые слова, которые он произносил торопливым шепотом, уже не пугали ее. Она даже видела в своем сожителе с ним неприменную плату за свое спасение. Однако его страсть постепенно распалялась, туманные намеки облекались в плоть, он становился раздражительней, обычное спокойствие изменяло ему, и, наконец, стыдась и путая слова, он признался, что любит ее. Странно, но она не ощутила ни мимолетного торжества, ни даже легкого упоения победой. Напротив, его пылкое признание снова напугало ее, и она тоже путала слова, пытаясь образумить его, но в глубине души все в ней было спокойно, и ровно, и безразлично, и угрызения совести не мучили ее.

Ей было уже семнадцать, когда прекрасным майским днем, гуляя со своей воспитанницей по бульвару, она заметила, что некий незнакомый красивый офицер неотступно следует за нею. Спустя час он решительно подошел к ней и представился. Он ей понравился. Несколько раз после этого они встречались на том же бульваре, а однажды договорились встретиться без свидетелей. Он повез ее на свою холостяцкую квартиру, и так случилось, что она, не выходя оттуда, прожила там неделю. Профессору было отправлено прощальное письмо, а офицер предложил ей руку и сердце, взял отпуск и увез ее в свое подмосковное имение.

Там они жили несколько месяцев, но разговоры о свадьбе постепенно затухали, она почувствовала, что он охладил к ней и тяготится их связью, и, наверное, поэтому сильно пьет, и, лишь выпив, воспламеняется вновь. И тогда, ни о чем не сожалея, она незаметно покинула его и возвратилась в Москву.

Что было потом? Ей подвернулось место гувернантки в купеческой семье, и она жила там, не переставая надеяться на скорое свидание с несчастным своим отцом, как вдруг прихотливая и недобрая ее судьба ввалилась к ней как-то ночью в образе хозяина дома. Молодая женщина решила защищаться. На крик явилась супруга купца, хорошо знакомая с тайными вкусами мужа, надавала Александрине пощечин и велела ей немедленно... сию же минуту...

Когда это случилось, Александрине шел девятнадцатый год. Она была хороша собой, умела держаться, следы пережитого еще не успели испортить ее чистого лица. Большие серые глаза останавливали не одного прохожего. Она бегала по частным урокам и зарабатывала и гордилась своей независимостью, хотя деньги были ничтожные и появлялись у нее в руках неаккуратно.

Профессор медицины встретился с нею случайно. Он очень постарел и обрюзг. Он едва не заплакал, увидев ее. Он просил ее вернуться, но она даже вздрогнула при мысли об этом и осталась непреклонна.

Она снимала небольшую грустную комнату в четырех-этажном доходном доме у Николы на Песках. Комната располагалась почти под самой крышей, отчего зимой в ней трудно было сохранить тепло, а жарким летом духота доводила до одурения. Зато она имела одно великолепное преимущество, на которое и польстилась Александрина: комната находилась в стороне от прочих квартир и имела отдельный выход на лестницу. В доме проживала всякая ничтожная мразь, пьяная, жадная, вороватая и завистливая, но Александрина держалась особняком, лишь к ночи украдкой пробираясь в свое логово. Она была бы, пожалуй, полностью счастлива среди всех этих тягостных несовершенств, будто бы умышленно созданных человечеством, когда бы не постоянные домогательства со стороны трактирного полового, жившего на той же лестнице. Почти каждую ночь, убедившись, что семья его спит, он пробирался к ее дверям, сопел за ними и возился, пытаясь войти в комнату, где молодая женщина изнывала от бессилия и отвращения. Иногда он встречал ее на лестнице и, дыша перегаром, спрашивал: «Нынче я приду? Да?... Пожалеешь меня?» Но и это было бы ничего, ибо она научилась не обижаться на притязания мужчин, различая за их горделивыми могучими плечами хилые души и слабые тела. Пугал ее косой, затаенный взгляд жены ее домогателя, и Александрина женским чутьем угадывала в нем приближающуюся грозу.

Повзрослев, она стала понимать с большей ясностью, что живет лишь благодаря надежде на возвращение отца и что эта надежда, возгоревшаяся в ней в детстве, стала теперь ее плотью и кровью. Все эти годы она сочиняла в письмах к своему мифическому отцу длинную сказку о своей восхитительной жизни, и он в редких ответах восторгался ее удачливостью и благодарил бога за его великодушие к сиротке. До той поры он никогда ее ни о чем не просил, но, видимо, уверовав в ее процветание и оказавшись в крайности, попросил ее написать государю слезную просьбу о помиловании старого, верноподданного и безвинного инвалида. А еще он впервые попросил у нее денег.

Проплакав над этой весточкой, Александрина послала ему все, что у нее было, а было у нее немного, пообещав вскоре выслать гораздо больше, и принялась сочинять письмо к государю. Письмо получилось длинное, полное отчаяния, и полетело в Петербург, слившись по пути с могучей стаей таких же длинных отчаянных и напрасных призывов к милосердию.

Теперь она с удвоенной энергией бросилась на поиски новых заработков, но деньги — такой предмет, который всегда торопится не к тем, кому он необходим крайне. Она недоедала и недосыпала, мокла под осенним дождем, мерзла в холода, но денег оказывалось почти столько же, сколько и было. Отчаяние охватило ее с новой силой, и стыд перед отцом сжигал и мучил, стоило лишь ей представить, как он там ждет, как надеется, что наконец и ему перепадет от ее фантастических удач.

Изнурительная борьба подорвала ее здоровье. Легкий румянец, покашливание, непрерывный озноб были дурным предзнаменованием.

Дом, в котором она жила, становился все враждебнее, возбуждаемый, очевидно, женой трактирного полового. Уже откровенные, как пение малиновок, раздавались посвистывания ей вслед, когда она пересекала темный двор и взбегала по грязной лестнице. И все чаще и чаще думала она об оставленном профессоре медицины, но, странное дело, когда думала, представляла себе не ночь, не постель, не отвращение к его объятиям, а доброе его лицо, и сдержанные его манеры, и тепло, и свет, и покой... А мифический отец ждал ее богатств, надеялся на милость государя, и, позабыв иной мир, кроме каторжного, он и представить себе не мог, что там, в ином мире, где проживает его благородная и удачливая дочь, могут быть грязные доходные дома, пьяные половые, чахотка и посвистывание вслед.

Когда она в редкие дни позволяла себе оставаться дома, чтобы отлежаться и отогреться, появлялась жена трактирного полового. Она распахивала дверь и, не переступая порога, долго и презрительно из-под рыжих ресниц глядела на бьющуюся в лихорадке Александрину. Пришлось дверь и днем держать на запоре, чтобы обезопасить свой дом от чужих глаз. Все складывалось так, что единственным выходом было бегство, но она оттягивала эту минуту, ибо берегла убывающие силы.

Однако, уж ежели гроза за клубилась, гром грянет непременно, и однажды поздним вечером, возвращаясь домой, она почувствовала на лестнице сильный запах дегтя. Пахло так, словно все жильцы этого проклятого дома по-праздничному вымазали дегтем свои сапоги. На верхней площадке запах был уже невыносим, а когда она чиркнула спичку, чтобы справиться с замком, увидела на своей двери громадное расплывшееся черное жирное пятно. Страх, брезгливость и обида охватили ее. Отвратительный запах душил. Она вбежала к себе, затворила дверь на засов, чтобы отгородиться от этого ужаса, но оскорбительная вонь дегтя в комнате даже усилилась, и при свете свечи она обнаружила и на внутренней стороне двери тот же черный растекающийся знак, и на белой стене над своей кроватью. Даже на подушке и на одеяле лежали жирные плевки дегтя, и даже весь пол был окроплен чьей-то безумной злобной кистью. И это был уже предел, и, сдерживая рыдания, она собрала свои пожитки и покинула этот мрачный вертеп.

Отчаяние привело ее на Пречистенку, в знакомую квартиру профессора медицины. Он страшно обрадовался ее возвращению, целовал ей руки и плакал. Его потухший взор вновь возгорелся, согнутые плечи расправились... В эту минуту все в этом доме показалось ей неизменным, и впервые за много лет она вздохнула с облегчением, ибо теперь уже не боялась ничего. Она поселилась в прежней своей комнате, где с тех самых пор все сохранялось, как было, лежала на прежней кровати и думала, как она правильно поступила, откинув девицы свои предрассудки, когда считала себя униженной его прикосновениями, как правильно поступила, вернувшись обратно к любящему и страдающему без нее человеку, и потому, когда открылась дверь и он вошел в халате и со свечой, она улыбнулась ему грустно, кивнула и закрыла глаза. Всю ночь они не спали, и ей даже показалось, что и она любит этого старого доброго своего любовника. Он узнал о ее мытарствах, о ее отце, целовал ее и плакал и пытался утешить. Ей начинало казаться, что она никогда не покидала его, что это ее дом и что профессор – единственный, на кого она может теперь надеяться.

Однако утром же она заметила в квартире резкие перемены, которых не видела вечером при встрече. Квартира выглядела потускневшей и заброшенной, горничной давно уже не было, мебель пришла в ветхость, кухарка оставалась еще по старой привязанности, просто не имея места, куда бы уйти. Дочь заметно подросла и с Александриной была холодна. Оказалось, что профессор давно уже отстранен от чтения лекций, так как с уходом Александрины пристрастился к вину, и лишь изредка теперь приглашался в частные дома в качестве врача, получая скромные гонорары. Надежда на сытость, уют, тепло и денеж-

ную помощь отцу рухнула, но отступить было поздно и страшно, ибо одиночество страшнее нищеты, и Александрина вновь засучив рукава принялась бегать по урокам.

Их отношения упростились. Он уже не таился, приходя к ней на ночь и выходя по утрам из ее комнаты. Известие о ее болезни потрясло его, и, плача (теперь это случалось с ним часто), он поклялся, что вылечит ее, что ради этого пересилит себя, будет опять много работать, они поедут в Швейцарию и там, в этом раю, она почувствует себя вновь рожденной. Она верила ему, потому что хотела выздороветь и потому что видела, как он ее любит. Но спустя несколько часов в тот же вечер он напился с каким-то отчаянным неистовством, и на следующий вечер тоже, и все последующие вечера. И, напившись, он вваливался в ее комнату, кидался к ней, требуя любви. Она пробовала его успокоить, усыпить, образумливая его, но он был упрям и настойчив. Она пыталась сопротивляться, вновь начав испытывать отвращение к его домогательствам, но он осиливал ее. По утрам он плакал, гладил ее трясущимися руками, называл себя мучителем и мерзавцем и расточал легкомысленные клятвы.

Тем временем на ее письмо пришел ответ, подписанный самим Бенкендорфом, в котором с холодной любезностью сообщалось, что государь при всей своей доброте не считает возможным помиловать опасного государственного преступника, ибо подобное помилование может выглядеть актом несправедливости по отношению к прочим отбывающим наказание преступникам, а посему следует смириться и ждать общих законных оснований.

Переборов невыносимую боль, причиненную этим известием, она решила отправиться в Петербург и броситься Бенкендорфу в ноги. Решение было твердым, но несчастный профессор умолял ее не уезжать и не бросать его одного, он рыдал, как дитя, обнимая ее колени, целуя ее руки, кричал в отчаянии, что он тоже имеет право на ее великодушие. Она жалела его и откладывала отъезд. Странно, но ее окаянный рок внезапно сжалился над ней, хотя и весьма жестоко, по своему обыкновению: в один из ранних весенних дней он толкнул пьяного профессора под колеса тяжелого экипажа, избавив его от страданий, а Александрину от его любви. Новый удар подкосил ее. Болезнь разгорелась ярким пламенем. О поездке в Петербург нечего было и думать. Как раненый зверь торопится укрыться в своем логове, как перелетные птицы, устав от мытарств перелета, стремятся, напрягая последние силы, добраться до прошлогоднего своего гнезда, где они родились и окрепли, так и она, иссушаемая болезнью, вспомнила о своем детстве и отправилась в Калужскую губернию, в бывшую деревню своего отца, где, как она знала, проживала ее старая кормилица.

Действительно, все вокруг было таким же, как она помнила. И старая кормилица была жива и узнала Александрину. Она обрадовалась ей и поселила ее у себя в маленькой избе, где жила одиноко. Она поила Александрину молоком, всячески жалела ее, оберегала от мрачных раздумий. Молодая женщина гуляла в окрестностях, помогала старухе по хозяйству. Так прошло два месяца, и она под воздействием покоя, чистого воздуха и ласки начала приходить в себя. Былые ужасы и раны мучили ее все меньше и меньше, как вдруг совсем неожиданно пожаловал к ней молодой господин, оказавшийся сыном нынешней владелицы бывшего имения Жильцовых. Он держался с достоинством, говорил медленно, но Александрина ясно видела, что он волнуется. Слова его ударяли ее в самое сердце, ибо в них она снова услышала голос своей ненасытной судьбы. Он узнал, что она здесь, и счел своим долгом представиться. Долго ли она намерена пробыть в этих краях? Не имеет ли она каких-нибудь видов на их с маменькой имение? Она успокоила его, уверяя, что и в мыслях не держала ничего подобного. «Да и все это было так давно, что я ничего и не помню». — «Что ж, очень рад, — сказал он бесстрастно, — однако маменьку крайне волнует ваше длительное и непонятное пребывание в нашей деревне». Он учтиво поклонился и исчез, но теперь уже Александрину не нужно было предупреждать дважды. Она знала, что человеческая фантазия изощрена крайне и способна придумать нечто более значительное, чем вымазанная дег-

тем дверь. Это был сигнал, сигнал недвусмысленный, и она, обняв плачущую кормилицу, отправилась в Петербург.

Она была так угнетена всем происходящим с нею, что в течение первого дня пребывания в Петербурге ни разу не подумала о том, где находится. Лишь на следующий день, словно очнувшись, увидела вокруг себя северную столицу. И тут она поняла, как долго и как напрасно теряла время в Москве вместо того, чтобы бороться с мрачными силами жизни, находясь здесь, ощущая спиною холодную, но твердую поддержку царственного петербургского гранита. Так она думала, готовя себя к последнему отчаянному поединку со всемогущим графом Бенкендорфом.

По приезде в Петербург она наконец подала прошение в III отделение с просьбой позволить ей посетить графа, а сама в ожидании ответа принялась устраивать свою жизнь.

К тому времени ей исполнился двадцать один год. Она была, как это говорится, в самом расцвете, да и надежда не совсем ее покинула. Болезнь, развивающаяся в глубине, не тронула ее красоту, легкий румянец делал ее еще более привлекательной, в больших серых глазах каким-то чудом сохранились спокойствие и тайна, и никто не догадывался, что бушевало в ее истрадавшей душе.

Она в эти дни особенно усердно молилась богу, прося его смиростивиться, быть ей великодушным заступником. И, наверное, ее молитвы были услышаны, ибо ей не пришлось долгое время подыскивать себе занятие. Казалось бы, совершенно случайно, что особенно ее поразило, она устроилась в дом к одной богатой вдове некоего статского советника, пожилой, лишенной родственников, праздной даме, в качестве компаньонки, или развлекательницы, или поверенной. Она читала вдове душеспасительные французские романы, гуляла с ней, выслушивала жалобы на жизнь и утомительные рассказы о ее замужестве с мелочами, с деталями, со всякими тонкостями, которые вдова хорошо помнила. Жизнь протекала однообразно, монотонно, без празднеств, но и без драм, что Александрина крайне устраивало. И вообще Петербург казался ей в первое время более сдержанным и ровным, более надежным и даже более участливым, нежели хлопотливая, суматошная, сумасбродная Москва со своим откровенным любопытством и горячей, бьющей через край безучастностью. Казалось, что никто ничем, кроме себя, не интересуется, и это было очень удобно и привлекательно для такого израненного человека, как Александрина.

Но так, к сожалению, продолжалось недолго, ибо один человек, оказавшись в соседстве с другим человеком, уже не может оставаться спокойным и сосредоточенным, а должен влиять, воздействовать, поучать и даже подавлять соседа.

«Вам нравится лето? – спросила вдова через месяц или два их совместного существования. – Странно, странно. Но согласитесь, что весна – лучшее время года. Да что с вами, моя милая? Как это можно сравнивать?» Затем последовало: «Вы пьете какими-то мелкими глотками, и у вас все что-то булькает... Привычка? Но это ужасно, это мне досажает. Надо пить не так, а вот так...» И затем: «Почему вы не заплетаете косы? Ведь косы – это же лучше, чем то, что у вас». И на следующий день: «Я уверена, что коса вам была бы к лицу». И через день: «Вы считаете, что я не права? Нет, коса – это украшение. Это известно каждому». И еще через день: «Я уже устала твердить вам одно и то же. И мне крайне обидно, что я хлопочу об вас, хочу, чтобы вам было лучше, а вы...» И Александрина заплела косу. Вслед за этим последовало: «Вы ему нравитесь. Он очень достойный человек. Почему бы вам... что значит не склонны? Во всяком случае вы могли бы быть с ним любезнее». И еще: «Да что с вами, моя милая? Я ведь не настаиваю на замужестве, поступайте как знаете, но отказывать ему неприлично...» И наконец: «Вы бы могли, наконец, прогуляться с ним, он вас не укусит». «Мадам, – тихо, но твердо сказала Александрина, – это невозможно». Вдова обиделась и сказала, что Александрина слишком несносна. Александрина попробовала объяснить вдове, что у нее есть свои привычки и желания и что она не может носить косу, когда

ей это не нравится, и пить чай крупными глотками и обжигать себе непривычное горло, и вообще она не может носить платье с таким количеством рюшей, на чем настояла в свое время мадам, если она помнит... На что вдова заявила, что она платит деньги и за свои деньги... «И потом, – добавила она, – вы кашляете».

И тотчас Александрина послышался отдаленный звон: это ее маленькая надежда разлетелась вдребезги по дубовому паркету чужого дома.

Деньги подходили к концу. Устроиться ей никуда не удавалось. Она вновь пыталась обращаться к богу, но он был глух к ее призывам. А тут еще появилось извещение о преждевременной кончине графа Бенкендорфа, и это означало, что наступает тьма. Удар следовал за ударом. Нигде не было видно ни малейшего проблеска. Но внезапно, словно в последнюю насмешку, ей было сообщено, что преемник графа Бенкендорфа готов ее принять. Задолго до назначенного часа она уже находилась в приемной графа Орлова. Волнение ее было столь сильно, что все вокруг казалось погруженным в туман, и она двигалась на ощупь. То, что ей говорили, западало в сознание, но она этого не понимала, а также не видела и того, кто с нею говорил, хотя смотрела на него большими серыми, широко распахнутыми глазами, и даже понимающе кивала в нужных местах, и даже что-то такое произнесла густым, цыганским голосом нараспев. Когда она вышла и направилась по набережной Фонтанки после разговора, ей все казалось почему-то, что разговор этот еще предстоит, и она, как урок, повторяла слова, которые должна будет сказать графу. Наконец она вышла на Невский. Был солнечный майский день. Публики было много. Наряды отличались пестротой. И тут она отчетливо вспомнила весь разговор и поняла, что ее несчастный отец, которого она никогда не видела, скончался в сибирской ссылке. Медленное, ленивое, благополучное шествие, открывшееся ее взору, так не соответствовало всему, что она ощущала в эту минуту, что ей захотелось закричать на них, затопать ногами, но она лишь ускорила шаги и почти побежала, сама не зная куда. Ударил гром, хлынул ливень. Яркая, словно молния, мысль озарила ее: все кончено и спешить некуда. Тогда она остановилась, постояла и медленно двинулась в обратном направлении. Вместе с ливнем на проспект обрушился ветер. Легкое и обманчивое весеннее тепло исчезло. Ветхое, промокшее насквозь платье холодило еще пуще. Но Александра ничего этого не чувствовала и, наверное, так бы и шла, как вдруг тяжелая карета заторопилась к ней, спасая, и она простерла к ней руки и тут же очутилась в объятиях Мятлева.

## 20

Карета подкатывала к дому. Ветер становился пронзительней. «Господибожемой, – подумала Александрина, – хоть бы не останавливаться!» «Хоть бы не останавливаться...» – подумал Мятлев, прижимая к себе ее худенькое податливое тело.

Старый дом встретил их торжественной тишиной и церковным полумраком, в котором, как в тумане, колыхались бессловесные мраморные изваяния, сплетаясь, падая, единоборствуя, исповедуясь друг перед другом на языке жестов, не замечая вошедшей гостьи, восхищенно уставившейся на них. Тут Мятлеву снова пришлось применить легкое насилие, ибо молодая женщина тотчас затерялась среди статуй, поглаживая их, обнимая, прижимаясь к ним щеками, всем телом, и через мгновение ее уже трудно было отличить от них, стройную, гибкую, с рассыпавшимися по плечам волосами, подобную Эрифиле, о которой сказал поэт: «Пленницу эту в дом введи с приветом... В ярме же рабском зложелателен узник...» Он окликнул ее, затем попытался поймать, но она ловко ускользала с тихим смехом и скрывалась за обнаженными соплеменниками. Дом словно вымер, приученный Мятлевым к невозмутимому безмолвию, и лишь они вдвоем мелькали в этом мире, никем, кроме них, не населенном. О, этот мир, не требующий твоих страданий, не жаждущий твоей покорности, не настаивающий на твоём рабстве! О, этот мир, исполненный благодати и доверия! Отзовись...

Наконец ему удалось настичь ее именно в тот момент, когда легкая стрела беззвучно вошла в сердце Минотавра и он изогнулся от боли, повернувшись к людям пустыми страдающими глазницами, словно предупреждая, что обольщения не менее опасны, чем смертельные раны, наносимые судьбой.

– Александрина, – сказал Мятлев, стараясь ее увести, – скорей, скорей. Что это вы расшалились? (Она кашлянула.) Вот видите?..

– Куда мы идем? – спросила она, слегка упираясь. – Опять в трактир?

Они поднялись на второй этаж. Она стала покорной, словно погасла. Уже ничто не занимало ее. Он вел ее за руку, как слепую, через пустынную залу, через вымершую гостиную, по лестнице, ведущей в его крепость. Внезапно она остановилась. Перед ними на площадке третьего этажа, учтиво приподняв старомодный поношенный цилиндр, с легкой улыбкой Одиссея на круглом, исполненном достоинства лице стоял Афанасий, подобный богу гостеприимства. Мятлеву пришлось по сердцу эта молчаливая сцена, он ввел свою даму в комнату и усадил ее в кресло. Она пребывала в оцепенении.

Тем временем бог в образе Афанасия ловко, но с достоинством принялся оборудовать жилье, где князь вознамерился устроить Александрину Жильцову, то ли подпав под обаяние ее красоты, то ли мучимый жалостью к несчастной жертве неумолимого рока.

Комнату свою со всем, что в ней имелось, он предоставил в полное ее распоряжение, страстно надеясь в душе, что она останется надолго и тогда получит настоящее жилье, приличествующее ее красоте и страданиям. Для себя же велел обставить библиотеку.

Повару приказано было постараться, и в недрах дома, недоступных простому глазу, закипели уже почти остывшие страсти.

Покуда князь отдавал распоряжения, Александрина, несколько прибодрившись, привела себя в порядок, выпила горячего молока, поданного Афанасием, затем повалилась в приготовленную для нее постель и мгновенно уснула.

Мятлев, затаившись, лежал у себя в библиотеке с томиком Августина, раскрытым на случайной странице, и старался вникнуть в смысл прыгающих перед глазами строк. Прошедшее с ним нынче было, как снег на голову, внезапно и неправдоподобно. Сначала все это походило на игру, странную и нелегкую, требующую напряжения, с фантастиче-

скими правилами и неведомыми условиями, однако вскоре выяснилось, что игры-то и нету, а есть женщина с прекрасным лицом, кричащая от боли и маленьким кулачком бьющая себя по колену, затем этот экипаж и ее содрогающееся тело у вас в руках, горячее молодое тело у вас в руках, влажные, слипшиеся ее волосы у вас на плече и щеке, и горячее тело у вас в руках... «Грудь заслонить от ветра...» Да, и маленькая горячая упругая грудь, и ваша ладонь, ощущающая ее сквозь тонкое, ветхое, холодное и сырое платье... Какая же это игра? И «господибожемой, господибожемой...» как призыв о помощи... Какая же это игра? Да игра ли это?.. Но молодая женщина с горячим гибким телом спит, разметавшись, за дубовой дверью, в пяти шагах отсюда, что само по себе не должно удивлять, но не удивлять не может, ибо если ее молодое горячее тело было у вас в руках, горячее гибкое тело и волосы, пахнущие дождем... «Сомнением, о мать, смутился ум...» Однако неужели вы в состоянии войти туда, к ней, в халате и со свечой, бормоча кавалергардские пошлости?.. Сначала это походило на игру, игру в спасение, но после того, как ее молодое горячее тело... А что она скажет, увидев вас в халате и со свечой? Но если она позволила себя обнимать, и приехала к вам, и легла в вашу постель в вашей ночной сорочке, и лежит, разметавшись, в вашей ночной сорочке в пяти саженях отсюда... Э-э-э, да что вы, в самом деле, с вашими сложностями! Она не спит, а молча презирает вас, как презирала вас Анета Фредерикс... И, конечно, теперь, когда минуло уже несколько часов и она махнула рукой, а вы вдруг являетесь в халате и со свечой, уж тут, знаете ли... «Не знал отец, что дочь его царица от Феба носит бремя...» И Мятлев даже присвистнул в смнении.

Александрина проснулась, услышав свист. Она не сразу поняла, где находится, но потом вспомнила. Через полуоткрытую дверь из библиотеки пробивался желтый колеблющийся свет.

Конечно, ее положение двусмысленно, но в чьих глазах? И он хочет, чтобы она жила в этом трехэтажном деревянном дворце и была здорова и счастлива, этот князь, господибожемой, с цепкими руками и виноватой улыбкой. Когда он заслонил ее от ветра как серый аист своими нервными крыльями упавшую с неба аистиху, разве уже тогда она не знала, как все должно было случиться? Разве она не знала? Разве не скребся о дверь и не пробивал головой стену пропитанный сивухой трактирный половой? И разве, протянув ей руку помощи, печальный профессор медицины мог пренебречь ее юной благодарностью? И разве не она, благоговей, приникала к своему несчастному студенту? И разве не знала, чем добр случайный офицер на Пречистенском бульваре? И когда она заглянула в библиотеку, где ему была приготовлена постель, разве не ей стоило большого труда не рассмеяться, ибо его безупречное притворство было как на ладони?.. И разве она не знала, что, стоит ей упасть в теплую княжескую постель, и он войдет в халате и со свечой? И, проваливаясь в тяжелый сон, успела помолиться, чтобы этого не было, не случилось, не произошло, чтобы сейчас это не произошло, потом, потом, не нынче... господибожемой... разрушение... долг... красота... неминуемость... жар...

Что это был за жар? Жар болезни или жар неизбежности, вечный, неугасимый жар, поддерживаемый, словно жрецами, ее наивным студентом, и одичавшим в одиночестве профессором медицины, и франтом в зеленом мундире, и скотоподобным трактирным половым; вечный жар, презирающий стыд, ниспосланный небом, восхитительно чистый и оскверненный зловонием и грязью, осененный дрожащим сиянием догорающей свечи, не знающий высокомерия, но высокопарный, придающий обнаженным телам божественное совершенство, опаляющий нас на протяжении всей нашей короткой, счастливой, отвратительной, горемычной и царственной жизни, покуда не останется от нас холодная капелька воска... Что же это было?

Свист не повторялся. Недоуменная тишина расплывалась по комнате. На низком столе громоздился остывший ужин. От изразцов голландки тянуло райским теплом. Она вскочила

с постели, взмахнула широченными рукавами его ночной сорочки, бесшумная, словно валькирия, пересекла комнату и заглянула в библиотеку. Он спал, подложив руки под голову, выронив бесполезную книгу.

## 21

*«18 июля 1846 года*

...Здоровье моей Александрины лучше, и доктор Шванебах весьма теперь доволен. Да я и сам вижу, что она расцвела. Угроза, кажется, миновала. Однако доктор сообщил мне все это, как обычно, с выражением грусти в саксонских глазах. Где-то в глубине души хитроумный эскулап все-таки что-то утаивает. Мой намек на желаемую отставку вызвал там целую бурю пересудов, и толков, и недоброжелательных восклицаний. Неужели я опять должен следовать общим правилам, прожив большую половину жизни? Вот так мы губим все лучшее в себе, все самые прекрасные порывы наших душ, служа молве, подчиняясь приличиям и чужим вкусам. Моя богоподобная сестра сколотила целую партию из подобных себе и, пользуясь своим положением, возбуждает против меня общественное мнение. Я уверен, что дойдет черед и до Александрины, и тогда гроза будет ужасна. Сестра уже разговаривает со мной на вы».

*«20 июля...*

...Из Михайловки пришли неутешительные вести. Большой дом за четыре года подгнил и осел, требует чуть ли не перестройки. Малый давно уже ветхий. Хотя, если его хорошенько промыть да просушить, мы с Александриной вполне могли бы обойтись летом, а там, глядишь, и большой будет готов. А там, глядишь, может, и сокроюсь от твоих пашей... Я распорядился, чтобы большой дом привели к осени в порядок. Управляющий клянется, что так оно и будет. Значит, следует ожидать к следующему лету, не раньше. Я рассказываю все это Александрине и вижу в ее глазах испуг. Она боится стать княгиней Мятлевой. Она хочет быть со мной, но боится стать княгиней Мятлевой, это ее пугает. После всего, что она пережила, она считает себя недостойной ни этого пустого титула, ни меня... Впрочем, она также боится несбыточности этого. Она не хочет крушения иллюзий! Ей все кажется, что мой Рок, сопящий, серый, бесформенный, топчущийся во мраке, неумолимый, требующий жертвы, что он не только мой, но и ее, и что он не позволит ей быть по-настоящему счастливой».

*«26 июля...*

...Она была права: кашель внезапно усилился и снова появился небольшой жар. Упрямец Шванебах твердит, что это летняя духота тому виною и что если выехать в Михайловку, то природа окажет благотворное воздействие. Весь день прошел в хлопотах, но добиться ничего не удалось. Вопрос с отставкой остался открытым, а время идет, и Петербург – не лучшее место для поправления здоровья. Чтобы отвлечь Александрину от грустных раздумий, которым она предается тайком от меня, и чтобы несколько разнообразить хотя бы на первое время ее туалет, я предложил ей ехать в Гостиный двор за покупками. Она совершенно неожиданно обрадовалась, как девочка. С отчаянной поспешностью мы полетели туда. Она закружилась среди материй, и лент, и кружев, выбирая, примеряя, отвергая, ликуя. Затем внезапно охладела ко всему. От духоты ли магазина, но ей стало плохо.

Потом ей уже все было немило, и она ничего не хотела выбирать, и мне стоило большого труда убедить ее взять хоть что-нибудь, и я пошло шутил что-то такое насчет моих ночных сорочек, которые пришли в ветхость. После обеда случилось маленькое происшествие. Болван Афанасий имел как-то неосторожность рассказать ей о проклятых привидениях, которые населяют наш дом. С тех пор я замечал, как она по вечерам прислушивается к звукам дома, а нынче прибежала в библиотеку, уверяя, что видела, как некто в белом возник перед нею и растаял. На ней не было лица. «Поменьше слушала бы этого идиота», – сказал я. «Господибожемой, я же не утверждаю, что оно было, – сказала она, пытаюсь улыбаться, – я же не утверждаю...»

«28 июля...

...Управляющий предложил привезти Александрина в имение, чтобы она пожила там, покуда я здесь все улажу. Она наотрез отказалась ехать без меня. Я этому про себя обрадовался, хотя бурно негодовал, бушевал и всячески лицемерил. Она, конечно, все это понимает, но прощает меня. «Господибожемой, как он меня любит!» Вчера был Амилахвари. Она его сразу очаровала, да иначе и быть не могло: она действительно трогательна и прелестна, а он готов пригреть любую раненую птицу, а уж такую, как она... Она меня спросила: «Тебе не кажется иногда, что я угождаю тебе ради того, чтобы жить в сытости?» – «Опомнись, Александрина, – сказал я, – видит бог, я ничего такого никогда...» – «Какой странный, – пропела она, – он думает, что я не могу бояться нищеты и ради этого... Да кто ему сказал? Как будто я... Да я же тебе рассказывала! Я ведь тебе рассказывала, я тебе обо всем рассказывала...» И тому подобное... Кстати, о позавчерашней истории с привидениями. «Я же не утверждаю...» – сказала она. Тогда я позвал Афанасия. Он явился в каком-то дурацком шарфе на шее, весь наспигованный Вальтером Скоттом, лоснящийся от сытости, но с благородной синевой под глазами. Я выговорил ему за то, что он распускает всякие вздорные слухи и вот напугал Александрина. «А как же, – с достоинством ответил он, – не я придумал. Исторические, если позволите, легенды». Чтобы убедить меня, он принес обрывок старой простыни, утверждая, что сам однажды отхватил этот кусок от покрывала привидения, пытаюсь задержать его. «Оно, если позволите, совсем бестелесное, не ухватишь. А покрывало вот тонкого полотна». Все это, в общем, произвело на Александрина удручающее впечатление...

...Звуки трубы, полусвет, полутьма – бесчинство природы или человеческое создание, горькое, как сам Создатель?»

«30 июля...

...Отвратительный день... Богоподобная моя сестра не замедлила свалиться на нашу голову именно в тот момент, когда Александрина отдыхала после обеда. Бедная девочка, наслышанная о фрейлине, вскочила, начала судорожно приводить себя в порядок, но сестра сделала вид, что не замечает ее, и прошла ко мне в библиотеку. У нас состоялся следующий разговор.

**Она.** Я все знаю. Можете не оправдываться.

**Я.** Я и не думаю оправдываться. Мне не в чем оправдываться. И потом, Лиза, ты могла бы врываться в мой дом не так стремительно.

**Она.** Помимо того, что вы своими выходками взбудоражили весь Петербург.

**Я.** Тебе бы следовало сначала...

**Она.** ...Я уже не говорю о дворе, вы позволили себе унизиться настолько, что привезли к себе даму из трактира...

**Я.** Что ты говоришь, опомнись!..

**Она.** ...помимо этого вы тащили ее на виду у всех, и весь Петербург теперь открыто говорит об этом... Вы уже так скомпрометировали себя...

**Я.** Послушай, Лиза...

**Она.** ...что восстановить свою репутацию вам теперь не удастся, но почему вы...

**Я.** Не оскорбляй меня... Выслушай меня...

**Она.** ...почему вы не думаете обо мне и репутации нашей фамилии?! Вы превратили дом в трактир и сами выглядите как прислуга, даже ваш камердинер более *comme il faut*<sup>2</sup> чем вы...

**Я.** Дело в том, что я не желаю, чтобы кто-нибудь...

**Она.** Вы могли бы, в конце концов, снять себе квартиру для свиданий, а не превращать в публичное зрелище...

**Я.** ...вмешивался в мою жизнь! Я, кажется, уже дал понять и тебе и остальным...

**Она.** ...публичное зрелище ваши недвусмысленные отношения неизвестно с кем. Когда-нибудь вы очнетесь, но будет поздно... Но будет поздно! Вы не смеете, наконец...

**Я.** ...что намереваюсь поступать по собственному усмотрению...

**Она.** ...приносить в жертву вашему эгоизму наше положение в обществе. Я вынуждена буду...

**Я.** ...нию, черт возьми!..

**Она.** ...прибегнуть к помощи моих друзей, чтобы они образумили вас и, если понадобится...

**Я.** Передайте вашим друзьям...

**Она.** ...принудили вас вести приличный образ жизни. От вас отвернулись... Вас не посещают... Вас презирают... Вы этого хотели?.. Мне даже страшно подумать...

**Я.** Передайте вашим друзьям...

**Она.** ...что будет, когда государь в довершение ко всем огорчениям, которые вы ему причинили...

**Я.** Передайте вашим друзьям...

**Она.** ...вы ему причинили, услышит еще об этом!

**Я.** Передайте вашим друзьям...

Но она кинулась из библиотеки, понимая, что Александрина могла все расслышать, и рассчитывая добить ее окончательно всем своим разгневанным обликом. Я кинулся следом, но опасения мои были напрасны. Александрина стояла лицом к окну и даже не шевельнулась, когда зловещая Кассандра демонстративно простучала каблуками у нее за спиной и не менее демонстративно хлопнула дверь.

Я кинулся следом, чтобы выкрикнуть ей на прощание что-нибудь изысканное и запоминающееся. Оказывается, в вестибюле ее дожидались.

---

<sup>2</sup> Порядочный, элегантный (*фпанц.*).

Это была графиня Румянцева, подруга Кассандры, двадцатитрехлетняя обольстительница наших героев. Невероятно, чтобы эта особа, подобно горничной, топталась вниз! Какая это была ничтожная дамская демонстрация...

– Наталья Андреевна! – картинно поразился я. – Вы-то какими судьбами? Да почему же не поднялись?..

Графиня была очень хороша собой, а в полумраке вестибюля просто обворожительна. Но я знал, что она неумна, и это было написано на ее прекрасном лице. Она не ответила мне, лишь грациозно тонкими пальчиками прикоснулась к локону, сумев при этом выразить мне свою неприязнь, но взгляд не отвела. Я чуть было не рассмеялся, но от этой окончательной бестактности удержало меня что-то жалкое, почти коровье, мелькнувшее в ее изумительных глубоких глазах.

Я позабыл, что минуту тому назад пикировался с Елизаветой Васильевной. Передо мной было только два этих темных глаза, молящих о тайном сострадании.

Она медленно повернулась и пошла за подругой к выходу. Я стоял и смотрел ей вслед, словно впервые видел. Петербург еще ни в ком не знал столь безукоризненных форм...»

*«2 августа...*

...отвергают всех, кто мыслит иначе, чем они. Мало того, они пытаются их подавить высокомерием, презрением, даже силой. Это след их пятерни на челе Александрины. Даже голубой фон Мюфлинг позволил себе быть снисходительней. Сестра моя, ты притворщица! Твоя безупречность кровожадна... Александрина никак не справится с недугом, который усугубило посещение фрейлины. Доктор Шванебах отводит глаза. Бедная девочка лежит, и, когда я вхожу, улыбается, и слегка кивает мне с видом заговорщицы, видя мое вытянутое от огорчения, лошадиное лицо... А я приношу ее в жертву собственной нерешительности. Она меня ввергла в сомнение, чертова Кассандра! Если мы с Александриной укатим в Михайловку именно теперь, они непременно придумают какую-нибудь пакость. Благородный Амилахвари, сострадая, посоветовал удрать куда-нибудь подальше, но ей пока запрещено подыматься... Да и куда подальше? Быть может, за хребтом Кавказа сокроюсь от твоих пашей?.. В том-то и дело, что «быть может», а ведь может и не быть. Вчера я подвел Александрину к окну, чтобы вместе полюбоваться на сгущающиеся сумерки, как вдруг увидел остановившуюся за оградой коляску. Из нее вышел голубой мундир и проследовал в дом. Через минуту Афанасий доложил, что меня спрашивает поручик Катакази. Я спустился к нему с дурными предчувствиями, и мы разговаривали прямо в вестибюле. Всем своим видом я дал ему понять, что не расположен тратить время на официальные разговоры. Но его это не смутило. Он сказал мне, что в жандармском управлении обеспокоены известием о проживании в Петербурге без видов на жительство некоего господина Труайя. Я выразил недоумение. «Тем более, князь, – сказал Катакази, – что, по поступившим сведениям, господин Труайя проживает в вашем доме». Я собрался было сказать ему резкость в ответ на его самоуверенность, но тут же вспомнил таинственного человека в башлыке, которого зимой мистифицировал

Афанасий, и, не сдержавшись, расхохотался. «Очень сожалею, – сказал я, – очень сожалею». Лицо его не дрогнуло, и он удалился... «Что так обрадовало тебя?» – любопытствовала Александрина, до которой донеслось мое невольное похихатывание. Я рассказал ей, смеясь, глупую зимнюю историю, но она восприняла это слишком всерьез, и я с опозданием спохватился. Наконец я догадался, что напоминают мне ее глаза! Они напоминают мне глаза пропавшего господина ван Шонховена».

## 22

Напряжение, поселившееся в трехэтажном мятлевском доме, не убывало ни на минуту, и чем сильнее становился жар болезни Александрины, чем чаще содрогалась она от кашля, тем неистовее метался по дому Мятлев с успокоительной улыбкой на растерянном лице, тем это напряжение становилось все заметнее и мучительнее.

Во-первых, он распорядился нанять двух горничных к Александрине; два бессловесных создания, одно рыжеволосое, по имени Аглая, другое с черной косой, по имени Стеша, закружились по дому, подхваченные ожесточенным вихрем, подавая, убирая, причесывая, кланяясь, возникая в нужную минуту и исчезая, заставив Афанасия сменить походку увальня на торжественный шаг мажордома, вызвав на его круглом лице выражение глубокой тайны и снисходительности, особенно когда он успевал поудобнее ухватить в коридоре одну из зазевавшихся девушек.

Во-вторых, в доме застучали молотки, зазвенели пилы, к ужасу доктора Шванебаха; со второго этажа, где срочно приводились в надлежащий вид три комнаты, предназначенные Александрине, поползли вместе с шумом душные ароматы свежей стружки, кожи и красок – так Мятлев единоборствовал с общественным мнением и утверждал в его глазах свои серьезные намерения в отношении Александрины; и, хотя доктор Шванебах пытался доказать, что все это не способствует выздоровлению бедной больной женщины, безумие, охватившее Мятлева, было непреклонным.

В довершение ко всему под влиянием разговоров с Александриной о бездушном неотвязном роке, преследующем ее, Мятлеву и впрямь начинало казаться, что он и сам не только допускает мысль о существовании этого злодея, но и ощущает его, и даже видит, как между ними двумя, между их любовью и страданием пирует и бесчинствует этот прожорливый вымогатель, как он развязно живет, как оглушительно хохочет, как дерзко и самоуверенно потешается над слабостью своей жертвы. Все тот же таинственный сопящий, топчущийся на одном месте, бестелесный и отвратительный гений, рожденный нашими страстями. «И все, кто добры со мной, все они страдают от него», – говорила Александрина.

Этот ежедневный поединок заканчивался обычно поздним вечером, когда больная, устав за день, погружалась в беспокойный сон, и тогда Мятлев, выпив водки, усаживался у распахнутого окна, вдыхая ароматы летней ночи, отупевший от борьбы.

Казалась ли ему эта борьба напрасной? Не знаю. Он был не очень откровенен в эти дни, а на прямые вопросы отвечал усмешкой. В сражении за жизнь дорогого человека скепсис и мольбы – плохие помощники. Лишь неистовство и любовь способны творить чудеса, хотя, правда, эти чудеса зачастую бывают кратковременны.

Внезапно, несмотря на все предостережения доктора Шванебаха, жестокая пятерня, вцепившаяся в горло Александрины, разжалась и молодая женщина, проснувшись однажды утром, почувствовала себя выздоравливающей. Через некоторое время ей было позволено встать, а затем в один из прекрасных дней конца июля большой старинный овальный стол Мятлевых был приготовлен к обеду на открытой веранде, выходящей в парк с задней стороны дома. Мы с доктором уже находились возле него, когда скрипнула стеклянная дверь и Мятлев вывел Александрину. Она была восхитительна в новом платье светло-коричневого шелка. Легкая мягкая шаль покрывала ее острые плечики, возвращая им утраченную округлость. Мне показалось, что я вижу слезы в ее глазах, но, взглядевшись, понял, что ошибся. Она улыбалась с детской непосредственностью, чувствуя себя окруженной друзьями. Она напоминала маленькую девочку, которой впервые было позволено обедать за взрослым столом. Я давно уже не видел Мятлева таким торжественным и спокойным. Он подал знак, и стол словно ожил. Звон рюмок и бокалов, легкое летнее журчание вина,

аромат кореньев в супе, рассыпчатое тесто крошечных пирожков, красноватая кожица телячьего жаркого, фантастические цвета подливок и соусов, сверкание тяжелых серебряных приборов с княжеской монограммой – все это перемешивалось, звеня, дрожа и благоухая. Лакей неторопливо разливал суп.

Казалось, ну чего еще? О чем можно мечтать после всего, что свалилось на их плечи? Но, приученные жизнью к превратностям и к мысли, что бессмертие – не их удел, эти, сидящие за столом, с ястребиной зоркостью присматривались друг к другу, не упуская ни одного жеста, ни случайного вздоха, в которых могло бы сквозить хоть малейшее подтверждение печальному несовершенству их судеб и кратковременности земного существования.

Александрина несколько раз прижимала худенький кулачок к вырезу платья, Мятлев ел преувеличенно спокойно, словно в ожидании выстрела, доктор Шванебах был рассеян и несколько раз подносил ко рту порожнюю ложку. И только слова, произносимые за столом, не выдавали сидящих. Спасительные звуки речи заглушали всякий непрошенный вздох, а смысл сказанного служил ширмой, за которой таились сомнения.

– А почему бы нам не побывать в опере? – спросил Мятлев. – Теперь все сходится так, что нам надо развлекаться.

– Господибожемой, – засмеялась Александрина, зная его отвращение к выездам и публичным развлечениям, – я ни разу не была в опере! За всю свою жизнь... Но ведь теперь лето...

– Доктор, – сказал Мятлев и выпил водки, – вы благословляете?

– Благословлять – не моя профессия, – сказал доктор Шванебах, глядя в сторону. – В опере смрад. Погуляйте по парку или съездите на острова. Впрочем, какая опера летом?

– Тем лучше, – согласилась Александрина, – теперь, после того, как я познакомилась с княжной Елизаветой Васильевной, – она слегка кашлянула, – с княжной Мятлевой, это было бы, наверно, не очень пристойно... Да? Не очень пристойно? Если бы мы появились в опере...

– Опера вам не грозит, – сказал я. – Сейчас лето. Если, правда, в Царском...

– Да нет же, – сказал Мятлев и осушил рюмку, – при чем это? Действительно, четыре часа в духоте... Вот что... Там декольтированные лисицы, медведи в эполетах, бородатые зайцы в тужурках на галерке... Ах да, ведь лето... Ну, может, и в Царском. Но там такая безупречность, что нас прогонят... Тебе в самом деле не хочется?

– Не хочется, – сказала Александрина твердо, без сожаления.

– А то мы можем пренебречь советами доктора... – И он осушил еще одну рюмку. – Да, как же насчет Михайловки?

– Теперь, я думаю, можно, – сказал доктор Шванебах, глядя в сторону, – через недельку.

Мятлев наполнил новую рюмку и подмигнул Александрине. Она ему улыбнулась печально.

...Помнишь ли труб заунывные звуки,  
брызги дождя, полусвет, полутьму?..

Какие по отдельности нескладные, вялые слова, а в целом это страшный эпизод из чьей-то жизни, и от звучания этих слов избавиться нельзя... «...полусвет, полутьма...»

Веранду окружала часть парка, превращенная искусными садовниками в разросшийся и торжественный сад с красными дорожками, с зеленой лужайкой, уставленной белыми скамьями. Во имя Александрины создавали свои благоухающие творения мастера, благополучно единоборствуя с природой. В белом, уже изрядно поношенном полуфраке с княжеского плеча, но тщательно отутюженном, с невероятным каким-то шарфом на шее, круглолицый и кривоногий, с ореховой тростью в руке, Афанасий медленно кружил в некотором

отдалении от веранды, с точностью определяя именно такое расстояние, которое позволяло ему не быть свидетелем господской беседы и одновременно в нужный момент улавливать любые желания князя. Его медленный отрешенный танец как нельзя более соответствовал духу, царившему за столом; духу, выражавшему себя не в торопливых, беспомощных и как бы случайных фразах, а в сдержанных, напряженных движениях, в ускользающих взглядах и улыбках, с напрасным усердием пытающихся скрыть печаль.

Чем чаще и чем ненасытнее припадал к рюмке Мятлев, чем грустнее была вспыхивающая на лице Александрины благопристойная улыбка, чем сильнее отводил в сторону глаза беспомощный доктор Шванебах, тем четче, но и сложнее был рисунок танца, исполняемого Афанасием, тем быстрее и энергичнее становились его движения, подстегиваемые лихорадкой, возраставшей за овальным столом.

— В конце концов, при таком рвении, — сказал доктор Шванебах Мятлеву, глядя на кривоногого камердинера, плывущего по красной дорожке, — при такой энергии и целеустремленности вы, я убежден, добьетесь своего, и они вынуждены будут принести вам свои извинения...

— Ха, — усмехнулся Мятлев, — вы обольщаетесь, господин Шванебах. Вы обольщаетесь, представляя себе, что они могут поступиться хоть капелькой своих причуд... нет, я не то сказал — своих привилегий, нет, своих страстей... своего бешенства... Сумасбродства... — Он отхлебнул из рюмки. — Хотите знать, что отвратило меня от них? Скука, доктор... Мой мозг высыхал от общения с ними, я это чувствовал... от общения с ними мой мозг... это вам хорошо: вы эскулап и вы переполнены профессиональными тайнами... вы за ними скрываетесь, как за каменной стеной... А вы говорите... — Он допил водку и потянулся за графинчиком. — Вы знаете их поодиночке, а я всех вместе... Для вас они носители недугов, а для меня одно чудовище... один большой злодей. И я откупаюсь от них вот уже большую половину своей жизни и отбиваюсь как могу, и мое сердце уже не вмещает всей боли и всех могил...

Это все случилось с ним в один год. Сначала пуля сразила его товарища, и тот лежал, уже чужой, уже остывший, на холодном камне, распластавшись, словно летел со скалы, обиженно поджав губы; затем его похоронили, увезя на родину, но Мятлев похоронил его в своем сердце, усвоив, чем оканчиваются попытки навязать своре собратьев свои собственные пристрастия. Тот погибший товарищ, тот коротконогий гусарский поручик с громадным лбом гения и с отчаянием беспомощности в недоумевающих бархатных глазах, с неприятными, задевающими манерами злого ребенка, раздраженный завистью и потому упорно презирающий все вокруг и страдающий; тот, чьи кровавые капли были перемешаны с крупными каплями пота, из которых родились, выплеснулись, выкрикнулись проклятия, заклинания, молитвы, слова, которые были под стать разве что Пушкину, он был похоронен в сердце Мятлева, где уже были похоронены многие другие, удостоившиеся в прошлом чести висеть, быть приставленными к стенке, гнить в рудниках, разбивать головы о двери казематов. И от этого сердце было разбухшим, но еще и от мысли, что коротконогий гусарский поручик с простоватостью пастуха лез на рожон, спотыкаясь, падая, вместо того чтобы откупиться, и не смертью, а всем, чем угодно: притворством, деньгами, слепотой... Так вот, сначала было это, а после сражение, нет, короткая случайная стычка с горсткой загнанных в ущелье, обезумевших бритоголовых горцев, и твердая уверенность, что меткость, храбрость и ненависть к этим умолкнувшим за камнями смертникам — это и есть наивысшая точка твоего предназначения и главный смысл всего сущего, хотя и это было звериным безумством, но не безумством отчаяния, а холопского самодовольства. И вот они нажимали послушные курки своих проржавевших ружей — и те и эти, и те и эти — до тех пор, пока пуля Мятлева не погрузилась в горячий живот бритоголового врага, и он видел, как тот, скорчившись, падает за камень, и слышал визгливые проклятия на незнакомом языке, и затем чья-то ответная пуля, шипя,

ударила Мятлева, и он опрокинулся, успевая ощутить, что эта громадная грязная пуля рассекла его пополам, вырвала у него внутренности и расшвыряла их по всему ущелью.

В бреду на лазаретной койке, покуда боль была невыносима, ему мерещилось одно и то же: скучная дорога в горах и он с невыносимой болью движется по ней к спасению, но силы оставляют его. Осталось несколько шагов, а там чья-то милосердная рука вырвет боль из его тела... но он лежит на дороге, беззвучно разевая рот... Он лежит на дороге, а рядом стоит понурый маленький ослик, запряженный в маленькую тележку, и грустно высматривает вокруг траву, но кругом все голо... Голодный, он не повезет, не тронется с места... И тогда Мятлев в отчаянии, с криком вырывает из своего живота и из своей груди сочные пучки густой альпийской травы и скармливает их ослику, и ослик, медленно жуя, медленно тащит тележку, на которой лежит Мятлев и вырывает, вырывает из своего тела весенние стебли и подносит их к пересохшим губам животного...

– Нет, господин Шванебах, – сказал Мятлев, – вы никогда не установите истины, ибо она вне ваших возможностей. Хуже другое, доктор, – сказал он с тоской, – даже вы не можете определить природу моего недуга, и никто... Вы утверждаете, что это последствия ранения... хорошо, допустим... Но согласитесь, милый доктор, что от раны в бедро не может возникать желание уползать в нору, и пить водку, и сорить деньгами... – Он рассмеялся. – В этом есть нелепость, а?.. Нет, вы представьте: какой-то грязный разбойник всаживает в меня свою пулю, а я... и это... Нет, это невероятно!.. Наследственность? Но мой отец был здоров как бык, а моя богоподобная сестра решительно ничем не страдает, если не считать ее излишней приверженности к этикету. И вы, господин Шванебах, никогда не сможете установить истины, ибо она вне сферы ваших представлений о человеке... – И он сделал движение, будто вырвал траву из своей груди.

Афанасий стремительно кружился вдалеке на зеленой лужайке, резко наклоняясь к подножиям деревьев, будто проверял, а надежны ли корни. А хватит ли им питательных соков? А не переусердствовали ли в еде и развлечениях коричневые гусеницы и прозрачные тли – тоже благородные дети природы?

– Господибожемой, – простонала вдруг Александрина, – все это оттого, что каждый считает себя вправе распоряжаться мной, оказывать мне благодеяния!.. Или велеть! Знать!.. Мазать дегтем... – она раскашлялась, – господибожемой... хватать за руку...

– Вам нехорошо? – наклонился к ней Шванебах.

– Мне прекрасно!

– Как думаете, доктор, – оборотившись к Шванебаху, спросил Мятлев, – а что, если воздвигнуть вместо чугунной ограды глухую кирпичную стену в два моих роста?

Обильно смоченная туалетной водой голова доктора Шванебаха поворачивалась в сторону сада, покуда наконец подбородок не коснулся плеча. И Мятлев, стараясь заглянуть ему в глаза, наткнулся на волосатое розовое ушко, которому и улыбался и от которого ждал ответа. Но оно, розовея все стремительнее и ярче, ускользало от князя, негодовало, отмахивалось, умоляло: «Ах, да оставьте меня, не надоедайте с вашим притворством!..» – ибо доктор Шванебах уже видел пропасть, на краю которой раскачивалась Александрина, такая юная и прекрасная, обойденная жизненными уладами, со страхом в сердце, который ему тоже удавалось прослушивать с помощью своей черной трубочки, а кроме того, в добром и высокомерном лице доктора, в его саксонских голубых глазах, которые внимали лишь ее сигналам, в интонациях, с которыми он обращался к ней, заключалось нечто большее, чем простая профессиональная озабоченность. И он, небогатый эскулап с немецкими предками, начинал ощущать себя гением, способным спасти молодую женщину, не только отведя ее от пропасти, но и поделившись с ней целительными богатствами своего сердца. А Александрина, выкрикнув свою проклятую боль, теперь сосредоточилась на хлебном мякише, пытаясь вылепить из него фигурку животного, чтобы, посадив его на ладонь, преподнести Мятлеву.

Она очень старалась, но выходило все что-то невозможное и уродливое, и так оно и поплыло к нему на ладони, не имея ни ног, ни туловища, ни названия. «Ха!» – сказал он, и поцеловал ее руку, и тут же скомкал злополучный шедевр, и, выпив водки, положил его в рот. И тут, наверное, шевельнулось в душе молодой женщины «господибожемой», но, конечно, не имеющее отношения к хлебному шарик, а опять связанное с тем же, все с тем же: а что же завтра...

Теперь Афанасий скрылся за кустами роз, хотя его белый костюм отчетливо просматривался сквозь листву, мельтешил там, раздражая доктора Шванебаха и мешая ему спокойно сосредоточиться. Да, конечно, думал доктор, такая поверхностность и легковесность не могут сослужить доброй службы. Потакая своим минутным капризам, нельзя излечить чужих ран. Половое влечение – это еще не любовь. Алкоголь – не лекарство от сомнений и смятения. Чувство ответственности не развито у представителей богатых классов, его заменяют жалость и каприз.

– Или мне уехать? – спросил Мятлев. – То есть нам уехать? – И он потянулся губами к худенькой ручке Александрины. – Хотя кто позволит?..

Конечно, думал доктор Шванебах, не считая нужным отвечать на праздные вопросы, конечно, за большие деньги можно позволить себе сомневаться и спрашивать глупости или проглотить такое прелестное существо из хлебного мякиша, имеющее такую трогательную головку и так трогательно поднесенное на ладони. Конечно...

Из-за розового куста выпорхнула рыжеволосая Аглая, торопливо оправляя белый кружевной воротничок на пурпурном платье, и затерялась среди деревьев. Афанасий, появившись вслед за ней, продолжал придирчиво осматривать свои владения, кружа по-прежнему.

– Все-таки, если построить стену, – сказал Мятлев, – это многое даст... Ха, представляю некоторые лица...

Доктор Шванебах предложил перейти в комнаты. Солнце начинало медленно садиться, и доктор беспокоился за Александрину, но в этот момент лакей доложил, что приехала ее сиятельство княжна и желает видеть их сиятельство. Мятлев, скривившись, направился было в дом, но фрейлина уже показалась за стеклянной дверью. Она надвигалась стремительно и распахнула дверь, не обращая внимания на предупреждающие таинственные сигналы брата. Доктор Шванебах вскочил, опрокинув рюмку. Александрина медленно обернулась. В дальнем конце сада живописно застыл Афанасий. Фрейлина счастливо улыбалась. Она подошла к Александрине и поцеловала ее в холодный лоб.

– Ну вот, – сказала она по-домашнему, – я вырвалась из Царского, чтобы повидаться с вами, мои дорогие, – и уселась в подставленное лакеем кресло. – В городе невыносимо. Я все время думала о вас, Alexandrine, как вам в вашем состоянии следует беречься. Но я вижу, что все уже хорошо? – Она обвела взглядом молчащих мужчин. – Серж, – голос ее зазвучал официально, – я привезла вам известие о благополучном решении вашего дела: вам позволена отставка. Государь был так добр, что поинтересовался вашей жизнью. Мне пришлось рассказать о многих ваших добродетелях, о которых вы и сами, наверное, не имеете ни малейшего представления... Alexandrine, вы выглядите чудесно. Я рада. Вы знаете, ваше имение в Киевской губернии можно откупить... Сержу следует заняться этим...

– Не понимаю, – пробубнил ее брат, – это мне непонятно...

Александрина посмотрела на Мятлева. Мой князь безуспешно пытался проникнуть сквозь туман хмеля в эти невероятные перспективы. Афанасий медленно приближался.

– Пожалуй, пора перейти в комнаты, – сказал доктор, не сводя с него взгляда.

– Нет, – упрямо возразил Мятлев. – Мы будем здесь. Здесь, на веранде... Здесь лучше... Но я не могу понять...

– Вы же из киевских Жильцовых? – продолжала меж тем княжна. – Я знаю... Я установила это...

– Из калужских, – сказала Александрина и кашлянула.

– Нет, нет, из киевских. Вы были маленькой девочкой, и вы успели позабыть. Из киевских. – Она обернулась к брату. – Это, знаете, из тех Жильцовых, которые... Доктор, вы помните Панина? Нет, не теперешнего, а того, берлинского, Никиту Петровича?.. Этот Жильцов, отец нашей Alexandrine, был женат на сестре жены того, берлинского, то есть матушка Alexandrine... ваша матушка, Alexandrine, была сестрой...

Александрина покачала головой.

– Нет, – сказал Мятлев, – вздор. Этого не было... Но я вот что хотел бы понять... Как-то вы приезжали ко мне, и с вами притащилась madame Румянцева и разглядывала меня осуждающими коровьими глазами. (Елизавета Васильевна в отчаянии отмахнулась от брата.) Значит ли это, что это было выражением мнения вашего общества обо мне? Или, быть может, она ничего не знает и случайно подвернулась вам у самых моих дверей?

– Серж, – наставительно произнесла сестра, – вы злоупотребляете вином. Вы погубите себя и Alexandrine.

– Ха, – сказал Мятлев, – наконец-то! Я догадался... Я все понял... Я понял, что это должно обозначать... Ах, дорогая сестра... Ах ты, моя дорогая...

– Он действительно напился, – сказала фрейлина Александрина, смеясь. – Да, я забыла вам рассказать, что произошло у нас. У нас случилось вот что... – У фрейлины было довольно милое лицо, которое несколько портили легкий желтоватый оттенок кожи и несколько более, чем нужно, выпученные глаза, которые придавали ее облику неукротимость, что не соответствовало ее природе, но, очевидно, постепенно, с течением времени все-таки произвело воздействие на ее характер, и в тоне княжны начали иногда проскакивать свирепые нотки. Мятлев же просто не переносил этих выпученных глаз, особенно когда она выходила из себя. Отсутствие большого ума всегда усугубляет всевозможные физические несовершенства, и добрая княжна была классической иллюстрацией к этому нехитрому положению. Что касается доктора Шванебаха, так тот считал ее истеричкой по призванию, а потому не знал способов облегчить ее страдания... – А у нас случилось вот что, – сказала она, – известная вам госпожа Юрко всякими путями добивалась расположения красавца Марио – этого, из итальянской труппы, – и вот почему ее экипаж часто заставляли на Мойке (а он жил там), а его видели выходящим из ее подъезда совершенно нагло... вскоре все выяснилось, а государь (он последнее время особенно нетерпим к проявлениям безнравственности) велел выслать тенора, да, да, он уже уехал... вот только что... Госпожа Юрко в отчаянии, при дворе ее не принимают... тяжким... гнусным... скудным умом... холодность...

– Я нахожусь среди двух миров: тот мне чужой, а тот недостижим, – процитировал Мятлев и погладил неверной ладонью Александрина.

– Я как врач настаиваю на необходимости перейти в комнаты, – заявил наконец Шванебах и поклонился княжне.

Александрина, прямая и молчаливая, с бледным остановившимся лицом, с кулачком, прижатым к груди, поднялась, взяла доктора под руку.

– Почему бы вам не отвезти Alexandrine в Карлсбад? – спросила фрейлина у брата.

– Мы поедем в Михайловку, – сказал Мятлев, провожая взглядом удаляющуюся Александрина.

– Какая глупость! – удивилась сестра. – Я уверена, что ей будет лучше в Карлсбаде...

– Ха, – сказал Мятлев, – ну и ну... Я все понял... Ну и ну. Тебе бы не следовало приезжать, вот что...

– Вы глупец, Серж, я еще не все вам сказала, – жестко произнесла фрейлина. – И к тому же вы пьяны. Все вас покинули. Вы всех раздражаете и отпугиваете.

– А я сделаю так, что ты... не сможешь сюда... ездить... Я все понял.

Она направилась к двери.

– Пстой, – сказал Мятлев, – послушай, Елизавета... Знаешь, Лиза, я велю... А известно ли тебе, что я... распорядился воздвигнуть вокруг дома стену из кирпича... в два моих роста... Ну?... И без ворот, и без щелочки... представляешь?

Она взвилась в небо, как мыльный пузырь, и исчезла, а Мятлев свалился в кресло, лишившись сил и разума, и тупо старался совместить носок своей лакированной туфли с красной дорожкой сада.

Там, где кончалась дорожка и поднимались кусты роз, вновь начиналось таинственное движение, мелькание, воздевание рук, молчаливое действие, живые картины, где белые хитоны перемежались с пурпурными гиматиями во славу любви, и беззвучные хоровые песнопения проникали в самую душу, и не было ни судьбы, ни поражения, ни зловещих предзнаменований – лишь вечно заходящее солнце и стремление друг к другу...

Разбудил Мятлева скрип двери, и тотчас расплывчатая картина приобрела четкость, грани слились, и уже можно было с легкостью догадаться, что Афанасий не отказался от решительных намерений по отношению к рыжеволосой Аглае, и тут же из распахнутого окна третьего этажа, знаменуя возвращение на землю, донеслось покашливание Александрины, и доктор Шванебах, очутившийся на веранде, сказал, пристально вглядываясь в трогательную садовую пастораль:

– Вам следует уехать с Александриной как можно быстрее... Нельзя терять ни минуты.

– А вы? – спросил Мятлев. – Разве вы не поедете с нами?

– Через неделю может быть поздно, – сказал Шванебах.

– Через неделю будут готовы комнаты для Александрины, а там, в Михайловке, гнилые полы... я знаю... – пояснил Мятлев. – Вы полагаете, это ей не повредит?

После этого невразумительного разговора, проводив доктора и умывшись ледяной водой, Мятлев, опомнившись, бросился к Александрине, но застал ее спящей.

Красота – слово жеманное, претенциозное, расплывчатое. Что может обозначать «она была красива», кроме того, что все в ней соответствовало известным нормам? Да, она была красива, и нос ее отличался безукоризненностью, и ровно очерченная округлость лба радовала взор, и громадные серые глаза, на самом дне которых переливались и посверкивали заманивающие грани темных хрусталиков, и слегка насмешливые, свежие, сочные губы, произносящие круглые теплые слова, губы, прикосновение которых вызывает сладкое замирание, и волосы, ниспадающие на худенькие нервные плечи не по моде ее счастливых подруг, – все, все это была ее красота. Но если бы в этих громадных серых глазах, на самом дне которых переливались заманивающие грани темных хрусталиков, не бушевало отчаяние гибнущей оленихи; и если бы ее слегка насмешливые, сочные губы не исторгали пронзительные «господибожемой!» и каждое прикосновение их не казалось бы последним; и если бы ее кулачок не прижимался бы к груди, а потом во внезапном исступлении не начал бы ударять по острому колену, словно маленький молот по глухой наковальне, пытаясь выстучать более сносную надежду... была бы она красива, эта перелетная птица, сеющая вокруг себя любовь, смуту и отчаяние?..

Она спала, свернувшись калачиком. За дверью журчал и переливался тонкий отдаленный хохоток Аглаи. Кто-то тяжело вздохнул у Мятлева за спиной. Он обернулся. Доктор Шванебах вскинул две ладони, призывая не шуметь.

– Нам надо объясниться, – сказал он шепотом и без приглашения проследовал в библиотеку. – Я не уходил, я был там, внизу. Нам надо объясниться... Видите ли, состояние девочки ухудшается... Вам это известно... (Мятлева покорила бесцеремонность, но доктора извиняло его официальное положение.) Теперь у вас есть отставка, и ничто не должно удерживать вас от поездки (действительно отставка!). Вам не следует медлить (что за тон!)...

Иначе все может кончиться катастрофой... И потом... И затем... Однако, если вы не можете или вам не хочется... Впрочем, я хотел бы... мне необходимо поставить вас в известность... я должен... – что-то мешало доктору закончить его мысль – то ли увиденное в окне, то ли он заметил на вытянутом лице князя недоумение, нежелание прислушаться. – Я бы хотел, чтобы то, что я вам скажу (Мятлев начинал сердиться)... что я вам скажу... Видите ли, девочке необходим покой, полный покой... – Он мял свои пальцы, как тенор, которому не удавалось взять нужную ноту. Внезапно он спросил: – Вы, надеюсь, ночуете у себя?

– Э-э-э? – поперхнулся Мятлев. – Какое?..

– Видите ли, – продолжал доктор с отчаянием, – я бы мог ее спасти, я бы мог ее спасти... но для этого ей необходима полная отрешенность... Я бы мог ее спасти, если бы я имел... она этого хочет, мы говорили с ней об этом... В ней борются чувство долга, благодарности и желание выжить... (Когда это они успели говорить?) И она, я понял это, она мне верит... Но вы должны помочь ей отрешиться...

– Послушайте, – засмеялся Мятлев, – да что с вами? Я ее люблю и сделаю все, что нужно.

– Вот именно, – сказал доктор Шванебах, скорбно кивая, – поймите меня правильно. Я, конечно, не могу соперничать с вами ни в знатности, ни в капитале, но, поймите меня правильно, ваша помощь должна заключаться в том, то есть вы должны (опять должен!)... Вы понимаете, речь ведь идет не о благотворительности, благотворительность – это вздор, даже ничтожная жертвенность выше благотворительности, но в данном случае... Но если вы хотите, но если вы действительно хотите... обеспокоены и хотите, чтобы бедная девочка... – Происходящее за окном, видимо, чрезвычайно захватило доктора Шванебаха, ибо его лоб почти упирался в оконное стекло, а пальцы лихорадочно и невообразимо сплетались, словно уже были лишены костей...

...Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, в одну из ночей, когда еще не было ни доктора Шванебаха, ни кашля, ни смутной тревоги, а жар болезни воспринимался как жар любви, и она маленькой, слегка влажной, цепкой ладонью сдавливала его плечо, а ее насмешливые, сочные, утомленные губы нашептывали теплые круглые торопливые слова: «Господибожемой... если бы он только мог себе представить, как я, старая женщина, его люблю, да, да, и не смеялся бы при этом... И не смеялся бы при этом, и не мешал бы мне говорить... И это горячее огромное доброе тело, если бы оно только знало, господибожемой, если бы оно только знало, как я молюсь, чтобы эта ночь никогда не кончалась... Мне не стыдно, мне не стыдно, вот какая радость случилась, что мне не стыдно, мне не стыдно... Я, старая, старая, соблазнила такого юного, нежного, несчастного, великолепного фантазера... И он, мало того, что терпелив, он еще, какой странный, снисходителен, великодушен, доверчив, как заяц, как маленький сурок, как крошечный воробей, и благороден, как старый лохматый медведь, и безупречен, как воздух, господибожемой...»

– Я люблю ее и сделаю все, что нужно, – сказал Мятлев, теряя терпение. – Ну? Что же нужно?

– Вот именно, вот именно, – горестно пропел доктор, – вот именно, вот именно... Она страстно хочет жить, и для этого... и потому... свободно... опасения... признаваться... высокую цену...

...и в другую ночь: «Мне так хочется выздороветь, я так стараюсь, у меня нет больше сил... Ну скажи этому доктору, ну прикажи ему, пусть он меня вылечит, и скажи ему, что я не верю в его трубочку, которой он тычет мне в грудь и в спину. Пусть он совершит невозможное!.. Я так трудно к тебе пробиралась...» – «Это я к тебе пробирался, – сказал Мятлев, – под дождем, хватал за руку, поил водкой, это я...»

– Вы меня слушаете? – поинтересовался доктор Шванебах. – Так вот, если вас это не оскорбляет, если это вам не кажется... Лично я уверен, но, что касается вас, я же не могу...

Видите ли, кроме того, ваше положение в обществе, я прошу понять меня правильно, оно в некотором смысле препятствует вашим намерениям, я же вижу... О, я все понимаю, – бледная улыбка в профиль, – но ей нужен покой, полный покой... Если река колеблется, она не затягивается льдом. Ее сиятельство княжна Елизавета Васильевна безупречна, но вы не можете полагаться...

«Как мне все-таки хорошо, – подумал Мятлев, глядя на доктора, – и как ему, наверное, нехорошо с толстой его немкой, распухшей от скуки и картофеля».

...И в другую ночь: «Я согласна выбирать между жизнью и смертью. Подумаешь, сложности... Но там, внутри меня, есть что-то такое, что не согласно, понимаешь?.. Ты понимаешь?.. Ты понимаешь?..»

– ...Много ли нам надо? – как из тумана, провозгласил доктор Шванебах, в упор глядя на Мятлева. – В мои сорок лет это не проблема. И потом, вы, надеюсь, знаете мне цену... – Спокойствие и рассудительность вернулись к нему. – Чистый воздух, здоровая, простая пища, полный покой, никаких воспоминаний, полный покой и небольшая доза участия, и полный покой... полный покой...

«Какой странный, – нараспев подумал Мятлев, подражая Александрине. – Что же такое он наговорил?» – и пошел провожать доктора, машинально изучая крепкий немецкий затылок и сильную шею, подпертую безупречным воротничком.

## 23

## Вставная глава

Чай пили, как всегда, в пять часов вечера в малой гостиной у теплого камина, под портретом императрицы Екатерины. Полотно это было не совсем обычно, ибо главное место в нем занимал архитектурный вид с колоннадой, удаляющимися зданиями, арками и прочим; в левом углу этого пейзажа внизу был написан портрет Екатерины в профиль на темном фоне зеленой драпировки, странно повисшей в воздухе, не имеющей, по-видимому, никакого отношения к расположенной рядом колоннаде. Императрица сидела, облокотившись правой рукой на спинку кресла, одетая в серо-синее платье, поверх которого красная накидка с рукавами до локтя; на волосах головной убор, едва различаемый; на спинке кресла и под локтем желтая ткань; тонкие губы едва тронуты улыбкой, имеющей откровенно не государственный смысл.

Чай разливала Александра Федоровна, уже бабушка.

Семья разрослась, и за небольшим привычным квадратным столом уместиться было трудно, однако до сухариков и фарфоровой сахарницы дотягивались все и не роптали.

На рисунке неизвестного художника это чаепитие выглядит несколько неестественно, поскольку дед изображен спиной к зрителю, а старший сын Саша в стороне от стола, будто он не зван или уже откушал, хотя дед любил замкнутый дисциплинированный круг. Художник вознамерился передать панорамное изображение чаевничающей семьи, но где-то, благоговей, перестарался, и потому в каждой фигуре ощущается излишняя торжественность и напряженность. И все-таки впечатление интимности и беседы не исчезло, а если домыслить, то и вовсе могло показаться, что и вы, как ни в чем не бывало, присутствуете при сем обычном частном семейном чаепитии.

Дед был в расположении. Внуки ползали под ногами по потускневшему ковру, и боролись, и повизгивали, и хватали деда за штанины, и инстинкт безошибочно подсказывал маленьким зверенышам, что окрика не последует. Все сидящие за столом тоже понимали это, но были чуть-чуть настороже, ибо обладали многолетним опытом.

В свои пятьдесят с немногим лет дед выглядел еще достаточно молодо и свежо, и сам сознавал это, и гордился этим, и требовал от всех сыновей, а особенно от Саши, как от старшего и наследника, просыпаться на заре, вскакивать без промедления и ходить, ходить, ходить, а спать на жестком и не стесняться ледяной воды. Ледяная вода обжигает, кровь начинает двигаться пуще, а это самое главное, а кроме того, можно не бояться простуд ни на охоте, ни на биваке, можно ночевать на болоте, вымокать под осенним дождем, и хоть бы что. Кроме того, крайне полезно спать даже зимой с приотворенным окном, не распахнутым, а слегка приотворенным, чтобы был доступ свежему воздуху. Для него самого это правило было свято, и все кругом поражались, как он строен в свои годы, крепок, как работоспособен, как ясна его голова, как всю жизнь это физическое здоровье хорошо влияет на нравственность, на понимание долга, на все, все вокруг.

С недавних пор у деда появилось брюшко, и, хотя в том не было ничего предосудительного, он массирует его с ожесточением, и тщательно затягивался, и не любил разговоров на эту тему.

Слева от него, как всегда, сидел второй сын, Костя, тайная его любовь. Костя здоровьем не пренебрегал, был невысок, но ладен. Но главное, что нравилось в нем отцу, был резкий ум и внутренняя сила. Правда, как и отец, он иногда бывал вспыльчив, и это огорчало, но втайне отец любовался сыном, даже его наполеоновский профиль был ему мил, и он машинально

сравнивал Костю с Сашей и сожалел, что в старшем сыне мягкости и нежности больше, чем следовало бы для его будущего, и больше в нем умения уйти от спора, но от чего это было – от ума или от вялости, – понять не мог. Его почтительность безукоризненна, но что за нею – только ли сыновняя любовь или сдержанность и сознание долга?

Дед не любил горячего чая, но не пользовался блюдечком, а приглашал кого-нибудь из внуков подуть в чашку, и они наперебой старались перед ним отличиться. На этот раз в чашку дул маленький Саша, сын Саши-большого, смешно приподымаясь на носках и раздувая щеки. Брызги разлетались по скатерти, и бабушка, Александра Федоровна, смеясь, пыталась отвести чашку, да дед не позволял. «Сашка, – говорил дед, – да не дуй сильно, вот дурачок. Эдак ты мне весь сюртук забрызжешь...» А Санни, жена Кости, с прелестной непосредственностью молодой женщины, которой пока все дозволено, откровенно поощряла Сашу на разбой. Ей было девятнадцать лет, и у нее еще не было своих детей, и потому она была преисполнена душевной щедрости к племянникам и, очевидно, лучше, чем все остальные, более взрослые, понимала и сочувствовала им. И когда она собирала их в кружок и играла с ними, то, глядя, как они радуются и счастливы, и сама бывала почти столь же счастлива. Когда тетя Санни уводила детей, следовало ожидать возни, шума, громкого пения, взрывов смеха... Деду это нравилось. Невесткой он был доволен, тем более что она была чрезвычайно хороша собой. Правда, по его лицу иногда пробегало облачко огорчения от манер Санни, не слишком изысканных для того положения, которое она занимала, или от ее плохого французского.

Эти вечерние чаепития с пяти часов и до шести были единственным временем, когда семья собиралась без посторонних и можно было смеяться и говорить чепуху, не очень заботясь, какое это производит впечатление, тем более что говорить о делах было не принято. Расстегнутый сюртук деда, будничные чепцы на Александре Федоровне и на тете Санни, помятые штанишки на внуках – все это было возможно за вечерним чаем, и если не поощрялось, то уж не осуждалось ни в коем случае.

Дед отхлебывал из чашки, а затем отставлял ее изысканно, непринужденно и в то же время удивительно величественно, как только он умел, так что всякий раз это с молчаливым одобрением отмечалось всеми присутствующими. Хотя в утонченности и благовоспитанности нельзя было отказать ни одному из них, дед проделывал это с чашкой, да и сидел на стуле, и поворачивал голову, и кланялся, и улыбался, и хмурился, и вообще все, все, каждое движение, которое он себе позволял, были и утонченней, и изысканней, и безукоризненней, чем у них у всех. И они знали, что это умение деда – целая система, выработанная им, сознательно усвоенная; и они хорошо знали, как он гордился своим искусством и как его большие, слегка навывкате голубые глаза зорко наблюдают за ними за всеми, подмечая досадные промахи и ошибки, и лишь к тете Санни он был снисходителен, словно, пораженный ее красотой, начинал сомневаться в правилах своей жизни. Но все это, конечно, относилось к любому времени дня или ночи, и только за вечерним чаем, с пяти часов и до шести, он позволял своим большим голубым глазам умерять присущую им зоркость.

Он не пришел к этому случайно. С того самого злополучного дня, с той самой минуты, когда ему пришлось неожиданно и негаданно взвалить на свои плечи тяжкий груз забот, он понял, что все подчиненные ему люди и даже те, что от него независимы, что вообще люди, вообще человечество оценивает и будет оценивать его впредь в первую очередь не по тому, что он для него совершит, и не по тому, что он ему скажет... и не по степени его доброты, или зла, или справедливости, или бесчинств, а по тому, каким он предстанет перед ним, он и его ближайшее окружение. Недостатком ли ума или мудрой проницательностью объяснялось все это, судить не нам, но он знал, что божий промысел лежит в основе всех его поступков, и все окружающие его должны быть подобны ему хоть в самой малой степени, а отступление смерти подобно.

Последние годы дед болел, но тщательно скрывал это, и лишь самые близкие были посвящены в его тайну. Впрочем, даже самые тяжкие приступы любого недуга, казалось, не могли бы помешать деду предстать перед людьми таким, каким они привыкли, да и желали его видеть. И Костя, поглядывая на отца, как раз и думал о том, как этот человек, пока он не остался наедине с собой, старается, что бы с ним ни происходило, выглядеть сильным, молодым, почти бессмертным. И тут вспомнился въезд в Вену, и даже он, Костя, уже все повидавший и ко всему привыкший, был поражен, созерцая отца во всем блеске мундира, мужественной красоты, величия всей его гигантской фигуры; прямого, надменного, возвышающегося над всеми окружающими его князьями, флигель-адъютантами, камергерами; и он не мог оторвать от него взгляда, и ему казалось, что он видит полубога, и хотелось кричать, ликовать и неистовствовать со всеми вместе. Затем, спустя самое малое время, он, минуя комнаты, отведенные их семье, внезапно увидел отца вновь: тот сидел, сгорбившись, с осунувшимся скорбным лицом, неузнаваемый, наполовину уменьшившийся, как бы упавший с высоты своего величия в пучину отчаяния, и был уже не полубогом, а жалким, страдающим, пожилым человеком. Возле него суетился врач, и Костя скользнул мимо, зная, как отец тщательно оберегает свою тайну.

Да, Костя понимал, и это пришло к нему в самом детстве, что даже невольное соглаדתайство с его стороны было бы расценено как предательство и что лучше мнимое неведение, чем обращенные на него, умеющие быть свинцовыми, неподвижные и казнящие глаза отца. Поэтому ни он и никто иной из членов этой счастливой семьи никогда, ни при каких обстоятельствах не решились бы быть судьями деяния своего могущественного главы. Впрочем, даже робкое сомнение в его правоте, выраженное вслух, было несовместимо с их врожденными представлениями о его правах и власти. Все это могло быть и происходило лишь в глубине души, на самом ее дне, так глубоко и тайно, чтобы никакое наивное движение – дрожание руки, трепетание ресниц, расширенный зрачок, ни интонация, ни походка – не смогло бы их выдать. «Да, – думал Костя, – он так могуществен и так привык к этому, что уже не может видеть маленьких недоразумений, и ничтожных несчастий, и каких-то там несовершенств, которые случаются вокруг, ибо, если напрячься и увидеть их, значит, признать, что и его жизнь, и его мудрость полны всевозможных изъянов. А ведь, пока он верит в собственную непогрешимость, многое вокруг разрушается и многое терпит крах... Но как сказать ему об этом, чтобы не прослыть его врагом?..»

И вот они все сидели за привычным столом будто бы в произвольных позах, как будто непринужденно и даже расслабленно, однако в той степени, в какой это не выглядело бы в их глазах развязным. Кровь, воспитание, ответственность, положение, опыт – все это скрепляло нервы, цементировало позвоночники, придавая непроницаемость их глазам и царственность позам.

Им всем, например, было хорошо известно, что Екатерина приобрела привычку и сохранила ее на всю жизнь – высоко держать голову при народе, благодаря чему она всегда казалась выше ростом. И это искусство, в котором она была несравненна, укоренилось по традиции и в их семье. Однако великая бабка не почиталась за образец, и портрет ее в малой гостиной был единственным, который терпели. Остальные лежали в подвалах, а уж изображения всех ее любимцев и вовсе были пущены с молотка.

Сухарики похрустывали на зубах. Маленький Саша, вытянув шейку, дул что было силы в чашку деда, но то разбрызгивал чай, то вовсе не попадал в чашку.

– Дурачок, – говорил дед, – не верти головой и не суетись... А ну-ка еще раз. Вот так. И еще. Вот так... Ну вот, ну вот, теперь посмотрите все, как Саша хорошо дует в дедушкину чашку...

Маленький Саша был пунцов от усилий и похвалы. Дед отхлебнул глоток и отставил чашку.

– Ну вот, – сказал он, – вот ты и добился своего. Теперь я не смогу без тебя обходиться. Тетя Санни всплеснула руками. Саша-большой поцеловал сына в потный лобик. Тот снова потянулся к чашке.

– Нет уж, теперь достаточно, – сказал дед. – Благодарю тебя, ты молодец.

За окнами бушевала вьюга. От камина разливалось благотворное тепло. За столом царили умиротворенность и добросердечие.

– Что Marie? – спросил дед. – Она, верно, измучилась. Эти головные боли у женщины могут свести с ума. Была бы моя воля, – он засмеялся и поцеловал томную белую руку Александры Федоровны, – я бы обязал всех женщин по утрам обливаться холодной водой и спать на жестком.

– Какой ужас! – воскликнула бабушка. – Нет уж, вы забудьте о нас. Вы же сами первый отвернетесь от такого чудовища с обветренной кожей.

– Marie не столько страдает от головной боли, – сказал Саша-большой, – сколько оттого, что не может быть с нами. Она мечтает, чтобы вы, татап, навестили ее, – и он почти-точно поцеловал руку матери.

– Забавно было бы посмотреть, как татап будет влезать по утрам в ванну с ледяной водой, – вдруг сказала тетя Санни.

Наступила минутная пауза. Бабушка слегка покраснела. Костя растерянно посмотрел на отца.

– Санни, – сказал дед мягко, – да разве это возможно? Да разве мы дадим татап в обиду? – И он снова с еще большим почтением, чем сын, поцеловал руку жены.

Несмотря на бестактность младшей невестки, дед на нее не сердился. Она была, конечно, не очень тонко воспитана, но ее молодость, чистосердечие и изумительная красота восполняли недостатки воспитания. В ней было столько веселого изящества и добродушной распушенности, что сердиться было просто невозможно. Сын Костя был влюблен в нее, она обожала своего мужа, а дед умел ценить чистоту чувств, и его большие голубые зоркие глаза с удовольствием отмечали ее малейшее проявление во всех, а особенно в близких ему людях.

Он любил своих невесток. Он был рад, что бог послал его сыновьям истинную любовь. Да, он сам руководил выбором и он сам одобрял невест для своих сыновей, но именно потому, что его действиями руководило божье провидение, он не ошибался в выборе и польза сочеталась с любовью. Он любил своих невесток, и было огорчительно пить чай нынче вечером в отсутствие Marie, старшей из них. Он отхлебывал чай, а сам представлял ее лицо, не столько красивое, сколь прекрасное, осененное кротким и проникновенным светом громадных внимательных глаз; он представлял ее тонкий рот со сжатыми губами, свидетельствующий о сдержанности, и легкую ироническую улыбку, так контрастировавшую с выражением глаз. Он любил ее, как мог любить прекрасную женщину, избранную его старшим сыном, хотя в этом выборе была тайная доля его участия, и он уважал невестку и ценил каждое сказанное ею редкое слово.

– Твоя татап нездорова, – сказал дед самому младшему внуку Владимиру, – а ты так расшалился... Ну? Ты понял, что я тебе твержу?..

– Понял, – сказал маленький Владимир и принялся щипать деда за ногу.

– Ах, какой шалун, – сказала бабушка Александра Федоровна. – Но разве можно наказывать такого красавчика? Это невозможно...

– Вы любите его? – спросил дед, обернувшись к мальчику. – За что же?

– Как же его не любить, – сказала бабушка, – он ведь такой славный мальчик, и он очень любит свою бедную татап, и вас, и меня...

– Вот как? – удивился дед. – А я-то думал, что он просто шалун.

– Он просто глупый, – сказал Саша-маленький.

– Я всех люблю, – сказал Владимир. – И Сашу...

«Он в таком возрасте, – подумал дед, – что его любовь пока еще стоит многого, хотя она и коротка».

Когда наступал час чаепития, вся большая семья деда сходилась в малую гостиную, испытывая особые чувства, которых никто из них, пожалуй, не сумел бы объяснить и над которыми они никогда и не задумывались. Положение этой семьи в обществе было столь высоко, а потому и жизнь ее была столь не похожа на жизнь окружающих ее людей, что каждый из членов этой семьи, сам того не замечая, с малых лет начинал ощущать себя подвластным законам некоей высшей идеи, рядом с которой бессильны и ничтожны все твои маленькие и робкие пристрастия. С малых лет они принимали на плечи тяжкий груз и сурового регламента, подчиняющего себе даже их сновидения, и фантастических ритуалов, которыми становилось все: походка и одевание, еда и веселье, брачная жизнь и чтение книг, выбор друзей и выражение чувств; и даже их смерть не выходила за рамки приличествующего их семье и сама тоже была не просто кончиной, а трагическим торжественным ритуалом. С малых лет они становились рабами непререкаемых установлений и невероятных условностей, с беспощадностью вычеркивающих из их жизни все непредусмотренное, и они без сожаления расставались с непосредственностью и слабостями, которые с удивительной бестактностью время от времени все же навязывала им их человеческая природа.

Изредка совершая великие дела, они в большинстве случаев старались, чтобы даже житейские мелочи выглядели великими делами, и потому их завтраки, прогулки, молитвы приобретали высочайшее значение и требовали не меньше усилий, чем свершение великих дел. Бьют часы – им надо быть на параде, в театре, на приеме, на прогулке, не считаясь с тем, что у них в сердце. И горе тому, кто отважится на безумство противопоставить себя им или попытается усомниться в целесообразности такого существования. Лишь с пяти до шести вечера они становились почти самими собой, насколько позволяло им ввевшееся в их кровь и души представление о высоком своем предназначении да отсутствие посторонних глаз. И потому они с непонятным себе самим удовольствием сходились среди тихих стен благоухающей покоем малой гостиной.

Александра Федоровна заметила устремленный на нее взгляд мужа, исполненный участия и тепла, и постаралась незаметно улыбнуться ему в ответ. Однако ее улыбка не укрылась от Саши-большого, и он снова (ах, тамаа!) прикоснулся губами к ее руке. Но это участие во взгляде мужа было не случайным, ибо легкая тень озабоченности даже в эти мирные часы не покидала лицо жены. Он объяснял это переутомленностью и душевной тревогой от предчувствия неумолимо наступающей старости и старался приободрить ее. А Александра Федоровна, улыбаясь ему, думала, что если бы он узнал истинную причину ее печали, то ни его джентльменство, и ни его любовь к ней, и ни правила приличий, и ничто на свете не смогло бы помешать разразиться грозой.

Дело было в том, что их дочь Мария, любимица отца, была выдана семнадцати лет за красивого молодого и весьма знатного человека, кутилу и игрока, который, чтобы пользоваться большей свободой, постарался привить жене более легкий взгляд на нравственность, и вот она, потеряв точку опоры, сошлась с графом Григорием Строгановым, человеком, правда, серьезным и достойным, но, с точки зрения ее семьи, допустив тем самым мезальянс, влюбилась в него, и вместо легких, ни к чему взаимно не обязывающих отношений началась трудная, полная опасностей жизнь. А эта жизнь ежеминутно могла стать достоянием жадного до новостей общества и грозила дойти наконец до самого отца, который имел достаточно высокое представление о своем положении, чтобы в гневе ни перед чем не остановиться.

Дед кивнул на портрет Екатерины и сказал неизвестно к чему:

– Между прочим, когда чистили фуляр, которым она обертывала голову на сон грядущий, то видели, как из него сыпались искры.

Кстати, думала Александра Федоровна, Екатерина-то уж была в том известном смысле крайне одарена, но это ведь вызывало тогда, да и в нынешние времена вызывает более восхищение, нежели неприязнь или хотя бы недоумение. А бедная Мария ждет грозы, и ей не на что надеяться.

– Искры сыпались не только из ее фуляра, – сказала тетя Санни как ни в чем не бывало, – но даже из ее простыней...

– Возможно, – сухо согласился дед и отпил глоток.

Конечно, очаровательной и несравненной невестке следовало бы поостеречься и не растравлять семейных ран с милой и оскорбительной непосредственностью ребенка, но она была пришлой, и посвящение в их общую беду могло совершиться не сразу.

Конечно, в этой семье, состоящей из живых и здоровых людей, не пренебрегали сердечными страстями, и не отказывались от любовных утех, и не отвергали любой возможности получить наслаждение, и сами с безупречностью бывалых мастеров вязали хитрые узлы, предоставляя потомкам их распутывать, а сами любовались собственным умением и плакали от собственных несовершенств. Но благопристойность, которую они при этом сохраняли, и легкая изысканная тайна, которою они скрывали свои вожделения, – все это было тоже их неизменным ритуалом, которого не смел нарушать никто. И потому, воздавая должное государственным заслугам Екатерины, они не могли без смятения и ужаса вспоминать об эротической буре, явной и почти узаконенной, бесчинствовавшей над Россией и их домом в течение тридцати лет в нарушение этого ритуала. И потому все они, а особенно дед, где только возможно, с ожесточением стирали порочные следы любвеобильной, бесстыдной, едва навеки их не опозорившей великой императрицы.

Но не только положение Марии мучило Александру Федоровну, разливающую по чашкам не слишком крепкий и не слишком горячий чай. Несколько дней назад старуха Волконская, бывшая фрейлина покойной императрицы, доживавшая век в прежних своих апартаментах, просила ее за князя Мятлева, всем хорошо известного своей наглостью и многими скандальными выходками. Она просила Александру Федоровну повлиять на мужа и смягчить его, и Александра Федоровна, преисполненная добрых намерений, не смогла, как всегда, отказать старухе, но, пообещав, поняла, что взялась за невыполнимое.

Невыполнимым это было потому, что хотя муж и обожал ее и она это ежеминутно ощущала, ибо любая ее прихоть исполнялась им мгновенно с расточительной щедростью любви и волшебства, однако это касалось лишь того фантастического карнавала, в котором она жила, и не должно было выходить за его рамки, а кроме того, все, в чем можно было бы усмотреть малейший намек на ошибочность его мнений, ожесточало и отдаляло его. И тогда он говорил в каком-то отчуждении: «Вы же знаете, что это не в моих правилах. Вы судите об этом под воздействием вашего доброго слабого женского сердца, я же руководствуюсь государственными интересами, и разве все вокруг не есть доказательство моей правоты?» И она, любившая мир и благополучие в своей большой семье, молча сожалела о легкомысленном своем обещании.

Но даже если бы все было не так и он, распространяя свое обожание на все, что находилось и за доступными ей пределами, снизошел бы к ее просьбе, то и тогда она не смогла бы просить за этого князя, потому что видела его не однажды и не могла одобрять его поведение, и просто он был ей неприятен – сухощавый, несколько сутулый, в очках, со взглядом не то чтобы дерзким, но недружелюбным, со странной манерой ускользать, растворяться, не дожидаться конца, приманиваться где-то сбоку, выискивать грязь и не отвечать за свои поступки.

«Какое большое пространство, – думала в этот момент тетя Санни, – все эти Петербург, Москва... Гатчина... и этот... Ревель, и эта Сибирь, и он все знает и все видит», – и посмотрела на свекра. Ей нравилось, что он к ней снисходителен, потому что с недавнего дня своего замужества видела пока только его снисходительность.

– Кстати, – сказал Саша-большой, – что это за история с французским врачом, о которой все говорят? Он что, действительно питался человеческим мясом? В этом есть что-то чудовищное...

– Эти ученые – сумасброды, – засмеялся Костя. – Он отправился в Америку к диким племенам, жил среди них и старался следовать их образу жизни... Когда они поедали своих врагов, француз заставил себя присоединиться к пирующим, но, кажется, отравился...

– Зачем ему понадобился этот ужас? – спросила Александра Федоровна, переглянувшись с мужем.

– Это действительно сумасброд, – сказал дед мрачно. – Его бы следовало посадить на цепь. Я не возражаю против научных экспериментов, без них невозможно, но тут уж просто какое-то безумие. Ведь есть же какие-то границы дозволенного. Эти французы вечно что-нибудь выкидывают и возбуждают общество. Правительство не должно быть безучастным ко всяким нелепым фантазиям. Какая мерзость...

– Неужели есть такие дикари, – снова ужаснулась Александра Федоровна, – которые способны... ну, которые могут...

– Сколько угодно, – сказал Костя.

– Это позволяет нам не забывать о наших совершенствах, – засмеялась тетя Санни.

– Мы совершенны ровно настолько, насколько это угодно богу, – сказал дед недружелюбно. – И, чтобы в этом убедиться, вовсе не следует уподобляться дикарям. Ты говоришь, француз отравился? – спросил он у Кости. – Ну, вот видите...

– Представляю, как он сожалел о своем поступке, – сказала тетя Санни. – Даже не верится...

– Хватит об этом, – сказал дед, и все замолчали.

Стенные часы привычно и глухо пробили половину шестого, и встрепанная пожилая деревянная кукушка попыталась, выскочив из перламутрового домика, пропеть «Коль славен», но поперхнулась, захлопнула желтый клюв и удалилась в свои апартаменты. Все засмеялись над ее выходкой, которую она демонстрировала ежевечерне. Видимо, когда-то что-то там такое разладилось в сложном механизме, и однажды даже собирались приказать исправить, да дед раздумал: дети, а потом и внуки очень радовались всякий раз, когда возникала эта встрепанная чудачка с фальшивым голосом и странными манерами. Потом к ней привыкли, как к дальней родственнице, поселившейся в их доме, у которой множество причуд, но которая добра и необходима, и называли ее мадам Куку.

– У покойной Екатерины в чертах лица было что-то мужское, – сказала Александра Федоровна, махнув на кукушку рукой. – Вы не находите? Наверное, потому она так сильно румянилась и так высоко взбивала волосы.

– У нее было трудное положение, – сказал Константин. – Она была женщиной и самодержцей. И это надо было совмещать. Правда, ра-а?

– Пожалуй, – согласился отец, – но женщины, сдается мне, в ней было все-таки меньше. Она была одинока и скрашивала свое одиночество несколько своеобразно...

– Какая прелесть! – засмеялась тетя Санни, и ее племянники, устав от возни, захохотали следом.

– Вот именно, – отчеканил дед. – Я не оговорился, вы что думаете?.. Вот истинная женщина, – сказал он, целуя руку жене, – она ваша мать и бабушка, и все вы растете под ее распростертыми крыльями, и она моя супруга, и моя жизнь зависит от нее стократно, она добра, она всех нас объединяет, и она ангел... Разве вы в этом не убедились?

– Рарá, – сказал Саша-большой, – я восхищаюсь вами, и ваша любовь к татап – самый достойный образец любви.

Дед не лукавил, произнося свои высокопарности. Он любил Александру Федоровну и питал к ней, к этому хрупкому легкомысленному и изящному созданию, страстное и непрекращаемое обожание натуры сильной к существу слабому. Он с фанатической настойчивостью создавал ее культ, который начинал приобретать грандиозные размеры и без которого уже не могли обходиться ни он сам, ни вся его семья и ни многие, многие, населяющие те обширные пространства, о которых с таким восхищением думала тетя Санни.

Но, обожая жену, превращая ее жизнь в грандиозный фестиваль богатства, роскоши, изысканности и безоблачности, он позволял себе все-таки видеть других женщин, и отмечать их своим вниманием, и тянуться к ним; и в то же время, почитая их как идею, воздавая им должное с внешним рыцарским величием, он никогда не обольщался на их счет.

Их было немало в его жизни, и он умел запоминать и был зорек, и поэтому ничто в их поведении не могло укрыться от него. Он обогащал свой опыт за их счет легко и стремительно, не оскверняя семейных святынь. Он хорошо знал, какие многослойные прожекты зреют за их очаровательным простодушием, какая неукротимая жажда владеть распирает их робкие души и обременяет их изысканные пальчики, какой наглый расчет таится в прекрасных глазах, переполненных слезами слабости и благоговения, и какие неправдоподобные жертвы приносят они себялюбию – этому сумасбродному божеству своей природы. Он знал и об исключительном коварстве, на которое они способны, и, конечно, неспроста писал своему брату Константину в Варшаву в давно минувшие времена польского мятежа о том, как следует опасаться прекрасных полячек, которые, с врожденной изощренностью обольщая русских офицеров, дезорганизуют армию. Он всегда поражался отсутствию в них чувства меры, но то, что оскорбляло его в других, восхищало в представительницах собственной семьи, ибо семья, она тоже была для него ритуалом среди множества прочих ритуалов, на которых он был вскормлен.

То была семья, а те, иные, вызывали в нем легкое пренебрежение, когда он с ними сталкивался, и почти забывались, когда отсутствовали.

Теперь он лишь изредка позволял себе снисходить к ним, наблюдая, как они тотчас вспыхивают и теряют рассудок, наподобие баронессы Фредерикс, этой гордой и недоступной Анеты, которая опустилась до того, как поговаривали, что открыто посещала князя Мятлева в его дому, и как она позабыла о своем князе, заметив манящие сигналы деда, и как заторопилась к нему, теряя свое обаяние, словно перышки. Он забавлялся.

В давние времена случались истории и попрелестней, и о некоторых из них он любил рассказывать в тесном кругу, не боясь изображать себя в невыгодном свете, ибо далекое прошлое, как он полагал, уже прощено, а его, деда, идеи и правила неприкосновенны.

И за нынешним чаем ему вдруг вспомнился нелепый случай, происшедший с ним лет около двадцати назад, и ему захотелось поделиться, и он сказал сидящим вокруг него:

– Однажды со мной произошла прелестная история лет двадцать тому назад, татап о ней знает, она смешна и поучительна, и я хочу вам ее рассказать... Это о той музыкантше, – сказал он Александре Федоровне, – вы помните, конечно, – и поцеловал руку жене.

Однажды, в том далеком январе, прогуливаясь, как обычно, по набережной (а вставал он на рассвете, занимался делами, кушал чай, около восьми утра принимал первые доклады и ровно в девять выходил на прогулку), на мостике у Зимней канавки он заметил идущую ему навстречу молодую девушку, скромную, но очень мило одетую, с большой нотной папкой в руках.

Он пристально взглянул на нее, отметив про себя ее достоинства, и прошел мимо, и, верно, позабыл бы о ней, ежели бы на следующее утро снова они не повстречались на том же месте.

Его это заинтересовало, тем более что молодая особа была прехорошенькая, но держалась чрезвычайно скромно и порядочно. Она, видимо, тоже обратила внимание на молодого красивого офицера-измайловца и поэтому, когда на третий или четвертый день он приветливо ей улыбнулся, ответила ему не менее приветливой улыбкой. Затем последовал обмен дружескими поклонами, а затем и более или менее откровенные разговоры. Так продолжалось около месяца. Его крайне забавляло, что она не догадывалась вовсе, с кем имеет дело, и держала себя с ним на равных.

Избегая говорить о себе, он узнал всю несложную биографию незнакомки. Оказалось, что она дочь бывшего учителя немецкого языка, оставившего свои занятия вследствие полной глухоты, что она дает уроки музыки, что мать ее занимается хозяйством и почти все делает сама, так как они могут держать только одну прислугу. Наконец он узнал, что живут они на Гороховой, в доме бывшего провиантмейстера, и занимают небольшую квартирку в четыре комнаты.

От откровенных разговоров о житье-бытье собеседники перешли к более интимным темам, и он осторожно навел речь на желание свое ближе познакомиться с молодой учительницей.

Отказа не последовало. Девушка легко согласилась, чтобы новый знакомый посетил ее и познакомился с ее отцом и матерью, которые, по ее словам, будут очень польщены этим знакомством.

Назначен был день и час первого визита, и в этот день по окончании обеда он объявил дома, что пойдет пройтись по улице...

Ни о каких охранах в те времена еще не было речи... Он свободно гулял где и когда хотел, и то, что впоследствии, при его потомках, считалось заботой и зачислялось за необходимую и полезную службу, явилось бы в те времена дерзким и непростительным шпионством.

И вот, подняв воротник шинели, торопливо шагал он по темным уже улицам, с легким нетерпением ожидая близкого свидания. На углу Гороховой он, как бывалый ловелас, оглянулся с осторожностью во все стороны и направился к указанному ему дому. У ворот он осведомился у дворника, туда ли попал, и, пройдя двор, стал подниматься по довольно узкой деревянной лестнице. Против всякого ожидания, лестница оказалась освещенной. Правда, все освещение ограничивалось тусклым фонарем со вставленным в него оплывшим огарком, но для Гороховой улицы того времени и это было роскошью.

Осторожно поднимаясь по грязным и скользким ступеням, он еще издали услышал звуки фортепьян и ощутил какой-то странный запах – смесь подгорелого масла и дешевого одеколона. В довершение ко всем странностям перед нужной ему дверью горел такой же фонарь. Удивление его все возрастало. Но что же делать? Не уходить же обратно, как самому простому из смертных... Он опустил воротник шинели и смело дернул за железную ручку звонка, болтавшуюся поверх совершенно ободранной клеенки. Дверь распахнулась, стремительное облако дурмана нахлынуло на него, и он увидел медно-красную рожу служанки.

– Кого вам? – неприветливо спросила она.

Он назвал фамилию хозяина.

– Дома нету! Вдругорядь приходите... – И она попыталась захлопнуть дверь, но он помешал ей.

– А барышня?..

– Сказано вам, никого... Экие неотвязные, прости господи!

– Но как же. Мне сказали... меня ждут...

На ней был ситцевый сарафан и сальный подоткнутый фартук. Вонь от лука становилась невыносимой.

– Ждут, да не вас! – крикнула она. – Нынче нам не до простых гостей...

– Так, стало быть, господа дома? – спросил он, озадаченный.

– Дома, дома, – сказала она страшным шепотом, – только пускать никого не приказано... Самого ампиатора ждут в гости!..

– Кого?

– Ампиатора... Так что вы по своему офицерскому-то чину ступайте подобру-поздорову, покуда вас честью просят... Поняли?

– Понял, – сказал он послушно, – только ты мне скажи, ради бога, кто это вам сказал, что сам император должен пожаловать?

– Барышня наша сказала... У нас как есть все приготовлено: и закуска, и ужин... и фрухты куплены!

– И всем этим твоя барышня распорядилась?

– А как же... Сами-с...

– Ну, так скажи своей барышне, что она дура! – проговорил он в сердцах и, подняв воротник, заторопился прочь.

Кухарка выкрикивала вслед какие-то непристойности, фортепьяна звучали насмешливо, а он уже выскакивал со двора...

– И вы ее не проучили? – смеясь, поразился Костя.

– Господи, – сказал отец, довольный произведенным эффектом, – простая грязная баба... Да в этом же и вся пикантность.

– О, пожалуйста, – попросила тетя Санни, – расскажите что-нибудь еще о своих ухаживаниях.

– Санни, – сказала шокированная Александра Федоровна, – не хотите ли еще чаю?

Дед посмотрел на часы. Большая стрелка приближалась к шести. Скоро-скоро появится взбалмошная мадам Куку, чтобы прохрипеть свое последнее «прости».

– О, пожалуйста, – повторила Санни, но тут же смолкла, ибо лицо свекра уже не выражало желания потешать их историями из собственной жизни. Оно стало строже, и едва заметная складка на лбу потемнела и словно углубилась. Глаза глядели мимо них, куда-то туда, за окна, за которыми январская метель выделявала черт знает что. Он был уже не с ними, и потому все, даже внуки, заметно напряглись, замолчали, будто приготовились навсегда распрощаться с этой уютной и привычной гостиной.

– Ты не забыл, что я буду ждать тебя ровно в половине седьмого? – спросил отец у старшего сына, и Саша-большой почтительно склонил голову.

Затем под причитания облезлой мадам Куку он вновь приложился к руке жены, коротко кивнул всем остальным и первым покинул гостиную.

Он шел по коридору, высоко подняв голову, правая рука за бортом сюртука, левая за спиной, весь – долг и величие, и рослые гвардейцы с горящими взорами замирали на своих постах.

## 24

Иногда болезнь вовсе покидала Александрина, и все вокруг будто озарялось, и тогда старый немощный хищник с пожелтевшими зубами, забытый Мятлевым, но еще живой, начинал исторгать такие восхитительные юные мелодии под ее маленькими пальцами, так мягко содрогался при каждом ее прикосновении, так сладко постанывал от переизбытка удовольствия и неги, что все, до кого долетали его звуки, тотчас начинали ощущать себя и сильнее, и богаче, и счастливее. Тогда возникали всякие сакраментальные мысли о вечности и бессмертии, и о благоприятном расположении светил, и о справедливой цене за жизнь, и о благополучном завершении страданий.

В такие дни Мятлева оставляли дурные предчувствия, Афанасий наряжался в свой дурацкий цилиндр и церемонно раскланивался со всеми на каждом шагу, будучи уверен, что доставляет этим огромное удовольствие присутствующим, и еще безумнее устремлялся за увертливой тепленькой Аглаей, сохраняя при этом каменное спокойствие на круглом лице. Фрейлина Елизавета Васильевна, расточая надуманные ласки, говорила брату с надеждой: «Вы устали, мой милый брат, вы устали... Только подумать, какое бремя вы взвалили себе на плечи!.. Какую боль вы должны испытывать, сгорая в этих великодушных заботах!» И доктор Шванебах, сидя напротив Александрины, не спускал своих голубых саксонских глаз с ее вдохновенного, прекрасного лица, с профессиональной зоркостью изучая и запоминая ее черты и вздрагивая при каждой ее улыбке, отпущенной ему.

Но кратковременная фантастическая эта пора сменялась новыми приступами, и болезненный жар усиливался. Александрина бил озноб, ее худенькое тело тонULO в одеялах и грелках, и княжна говорила брату, пожимая плечами: «Отчего бы вам не отправиться с Alexandrine в Карлсбад? Ну что же теперь делать, если это будет не так воспринято? Теперь, когда на вас махнули рукой... Теперь, когда вы уже погрязли во всем этом...» И Александрина из своих подушек, грелок и одеял, не сводя с фрейлины глаз, бормотала сквозь кашель что-то насмешливое о дегте и о насилии... Мятлев погружался в страх и неопределенность, выслушивая наставления сестры и наблюдая, как доктор Шванебах, распространяя парфюмерные запахи, склоняется над Александриной, прижимается щекой к ее груди, раздувая крупные ноздри и замирая.

И тогда же, особенно по ночам, перед тоскливым взором больной проплывали видения прошлых лет, и белый распоясавшийся призрак сновал по комнате с наглостью летучей мыши, и горничные с синяками у глаз от бессонных ночей отгоняли его прочь, и взбивали подушки, и носились по дому, с ловкостью увертываясь от цепких лап невозмутимого камердинера. И снова приезжал доктор Шванебах, всегда свежий и напряженный, и вновь припадал к ее груди, и опытная его ладонь медленно скользила по ее влажному лицу от лба и до подбородка.

Так было и в эту ночь, как вдруг она оттолкнула доктора и села в постели, свесив босые ноги. «Да что вы в меня вцепились, господибожемой!.. — и зарыдала, и ее тугой худенький кулачок ударил по колену. — Не хватайте меня за руку!.. Вы не смеете... не смеете!.. Я не позволю!.. — и зарыдала сильнее. — Вы не смеете... не смеете. И вы... И ты! — крикнула она Мятлеву. — Какие странные, господибожемой... они даже не спрашивают меня... Не смеете!.. Они даже не спрашивают меня, господибожемой!.. Да я благодарна вам, благодарна! Я благодарю вас, слышите?.. Благодарна... Я задыхаюсь от благодарности... преисполнена, господибожемой... — рыдания душили ее. — ...подкарауливать, хватать за руку!.. Да они еще и до дегтя додумаются... Это им ничего не стоит... Да как вы смеете!.. Да откуда у вас это право... благодетельствовать... и даже не спрашивать, господибожемой... мой... мой... мой...»

«Да в чем же моя вина? – подумал Мятлев с тоской. – Бедная моя Александрина».

И смотрел, как доктор Шванебах, подобный доброму сказочному псу, припадает к ней, избегая ее кулачка, как прижимается губами к ее уху, торопливо нашептывая ей что-то, как, раздувая ноздри, тычется мордой в ее плечи, шею, грудь и усыпляет, обнадеживает, голубоглазый саксонец, враль, торопыга...

Потом она уснула. К утру жар спал. Она виновато улыбнулась Мятлеву, и поцеловала его шероховатыми губами, и помахала ему худенькой ручкой, так как ему пора было отправляться.

Он был приглашен к бывшему своему полковому командиру по случаю именин его дочери и попал в окружение однополчан, о которых уже почти перестал вспоминать. Позванивающие, посверкивающие, благовоспитанные, породистые, словоохотливые, они встретили Мятлева с искренней радостью и объятиями, и разговоры потекли рекой. Однако их голоса погромыхивали где-то там, в отдалении, и бесполезные вопросы повисали в воздухе недвижимо, теряя смысл, как перья. Вскоре им, видимо, надоела его потусторонность, и виноватая улыбка на неподвижном вытянутом лице, и его глухой, не праздничный, хоть и изысканный английский сюртук, и тут они, словно прозрев, вспомнили, что он отрезанный ломоть, да еще окруженный нехитрой тайной, шитой белыми нитками, предмет неудовольствия и пересудов, тот самый, от которого сбежала Анета Фредерикс (многозначительное перемигивание: по какой причине женщина убегает от мужчины?), а он в припадке отчаяния покорила сердце некоей тра... та... та... которая ему теперь тру... ту... ту... отчего он (сокрушенные вздохи и покачивание головами)... И тайна его уже не была им интересна, поскольку ее достоинства были ничтожны рядом с их тайнами и их развлечениями. Ему оставалось только пить с ними да подмаргивать, стараясь, чтобы они скорее о нем позабыли. А когда они снова оборотились друг к другу, как живые к живым, он незаметно исчез.

Он медленно возвращался домой в открытой удобной своей коляске. По-летнему вымерший Петербург казался захолустным. Наверное, под воздействием выпитого Мятлеву захотелось зимы, пара, людских толп, инея... Где ты, зимняя вечерняя синева, пробиваемая золотыми неверными пятнами фонарей? Бледная душная пыль завивалась змейками под колесами экипажа и оседала на лице и плечах. Ни одного знакомого лица. Ни звука знакомого голоса. Ни слова участия... Однако и этот Петербург еще не умер. Его сонное увядающее тело еще, оказывается, дышало и вздрагивало, стоило только получше приглядеться, и трезвый фон Мюфлинг в голубом мундире стоял, наваясь на парапет, узнал Мятлева и низко поклонился. И у входа в трактир Савелия Егорова стоял сам хозяин со всей своей семьей, неодобрительно провожая взглядом коляску князя. И господин Катакази в цивильном костюме прогуливался у книжной лавки, делая вид, что с Мятлевым незнаком. И еще один господин в голубом сюртуке и полосатых панталонах, с наглыми рыжими усиками, прошел, незаметно поклонившись Катакази (ах, уж это пристрастие к голубому!), и другой в голубом же сошел на мостовую, ища извозчика... Но это был опять фон Мюфлинг! Как ему удалось опередить Мятлева и очутиться на Английской набережной? За спиной слышались частые шаги бегущего человека. Мятлев обернулся и увидел, что Катакази преследует его, утирая пот и ежеминутно спотыкаясь о булыжники. Коляска понеслась быстрее, Катакази стал отставать. Мятлев показал ему язык и отвернулся, но подумал, что поступил гадко. Лошадь пошла галопом. «Не надо!» – крикнул Мятлев, хватаясь за сердце, но кучер, как ни старался, ничего не мог поделать. Петербург давно остался позади, солнце село, а сумасшедшая лошадь, разбрызгивая клочья пены, летела и летела и тащила за собой непрочный, легкомысленный экипаж. Дело принимало дурной оборот. Мятлев решил было выброситься на ходу, но тут, откуда ни возьмись, появился фон Мюфлинг и одной рукой остановил лошадь. Наступила тишина. «Железная рука, – похвастался жандарм, – скажите спасибо, – и потрепал лошадь по морде. – А тебе не стыдно, бедняжка?» – «Благодарю вас, –

сказал Мятлев, – вечно вы меня выручаете... Хотелось бы узнать, где мы?» Фон Мюфлинг взобрался на козлы и оттуда, ерничая, сказал голосом кучера: «Домой приехали-с...»

Мятлев открыл глаза. Действительно, коляска стояла у дома.

Афанасий с перекошенным лицом бежал навстречу. Дурацкий шарф сползал с его шеи. Руки выделяли черт знает что. Князь замер.

– Что случилось?! – крикнул он тоненьким голосом.

– Ваше сиятельство, ваше сиятельство, – захлебываясь и трясясь, проплакал камердинер, – мадамзель Александрина, если позволите... ваше сиятельство...

– Доктора! – приказал Мятлев и побежал к Александрине.

Тонкий тоскливый вой обрушился на него, окружил, заполнил уши, то прибывал, то убавлялся, свисал с потолков, исходил от стен, поднимался с пола, подобный туману, клубился, доходил до визга, затухал, едва доносился, вновь усиливался, гремел, разрывал грудь, жаловался, проклинал, молил. Две горничные, Стеша и Аглая, семенили вслед за Мятлевым, не утирая слез. Дверь в комнату была распахнута, одеяло на постели было откинута, постель была пуста.

– Молчать! – заорал Мятлев, и вой прекратился. – Молчать... Где Александрина?.. Перестаньте всхлипывать... Где Александрина?..

Он кинулся в библиотеку, горничные, лакей и Афанасий последовали за ним. Библиотека была пуста. Тихие всхлипывания снова начинали переходить в вой.

– Молчать!

– Ваше сиятельство, – выдавил Афанасий, – надо бы, если позволите, на речку бежать... Надо бы, ваше сиятельство... на речку... на Невку... надо бы, ваше сиятельство... На Невку... – и так он повторял, пока все они, предводительствуемые безумным князем, пересекали парк по прямой линии, вытаптывая траву, сминая кусты роз, тараща глаза, с бледными лицами, исхлестанными ветками, опутанные паутиной, задыхающиеся. – На Невку, если позволите... на речку, ваше сиятельство... они, как уходили, так и сказали... Им больше некуда, если позволите, они сказали, ваше сиятельство... на Невку... на Невку... на Невку...

«Не может быть, – подумал Мятлев, – этого не может быть! Это было бы несправедливо...»

На берегу реки уже собралась толпа, окружив неподвижно лежащее женское тело. Обе горничные разом запричитали, но Мятлев прикрикнул на них.

«Господибожемой, – подумал князь с ужасом, – господибожемой!»

Вдруг Афанасий коснулся его руки.

– Ваше сиятельство, да это ж чужая!

Мятлев вгляделся и не поверил: перед ним, раскинув по траве бессильные руки, лежала утопленница в мокром крестьянском платье, с лицом скуластым и спокойным, будто спала.

Чужая, чужая, совсем чужая, не ведомая никому из собравшихся и никому из живущих поблизости, и вдали, и в других городах, в другом мире, погружившая свое ненужное чужое тело в мутные быстрые воды по чьему-то там велению или прихоти, чтобы лежать потом на прибрежной траве со спокойным лицом среди живых, не чувствующих себя чужими.

«Не может быть, – облегченно подумал Мятлев, возвращаясь через парк, – не может быть... Это было бы несправедливо».

– Ваше сиятельство, – проговорил Афанасий, продолжая всхлипывать, – так ведь мадамзель Александрина ушли, ушли, совсем ушли, из дому ушли... Они быстро так по лестнице побежали... и побежали, побежали... Ваше сиятельство, они через парк побежали... вот по этому самому пути, если позволите...

– Да что ты мелешь! – обозлился князь, но прибавил шаг.

– Они все про себя говорили, куда им идти... Ну куда им идти?.. И побежали через парк... А там река, ваше сиятельство.

Мятлев заторопился сильней. Афанасий семенил рядом, заглядывая ему в лицо. Завидев дом, они снова побежали, и лестница затарахтела, зашлепала под их ногами. Маленький их отряд ворвался на третий этаж, но Александрины не было.

– Может, она в город поехала, черт? – спросил Мятлев без надежды.

– Да нет же, ваше сиятельство, они прямо через парк побежали... а там речка... Они плакали очень, жаловались, если позволите, а после побежали...

– Да ты же видел, болван, кого из реки достали!

– Видел, видел, ваше сиятельство... чужую даму... из простых, если позволите... Но мадамзель Александрина тоже к речке побежали... прямо через парк...

Никто не заметил, как вошел доктор Шванебах, но насмешливый дух туалетной воды выдал его присутствие, и Мятлев велел Афанасию вновь повторить свой горестный рассказ.

Доктор слушал весьма сосредоточенно, слегка склонив голову и полуприкрыв свои голубые саксонские глаза.

– А что, – спросил он, не теряя мужества, – ты что, видел, как она добежала до реки? До самой реки?.. Или ты видел, как она побежала через парк?.. Это ведь разные вещи, – улыбнулся он сдержанно.

– Господин Шванебах, – взволнованно произнес Мятлев, – время не ждет. Мы теряем драгоценные минуты.

Горничные начали всхлипывать снова.

– Если она просто шла через парк, – самоуверенно продолжал доктор, – то это еще не дает нам оснований подозревать ее в трагических намерениях, – при этом он внимательно вглядывался в окно, словно там вот-вот должна была показаться Александрина, – если даже, предположим, ты (он сказал это Афанасию) видел, что она была на берегу, то это тоже еще ничего не значит, ибо, устав от болезни, могла захотеть просто прогуляться. Я полагаю...

– А слезы? А ее слова?.. А бегство?.. – мрачно спросил Мятлев.

Доктор пожал плечами.

– Они совсем ушли, ваше сиятельство, – заторопился Афанасий, – плакали и так и сказали, если позволите, что им больше некуда... на Невку торопились... Я говорил, если позволите, куда же вы? Зачем такое, мадамзель? А они: да оставьте меня, господибожемой!..

– Вот видите! – закричал Мятлев. – И ты, болван, не мог схватить ее за руку, удержать?! Вот видите, господин Шванебах, как это было? Теперь-то вы видите?

И вот уже с доктором они снова устремились к реке по горячим следам, проложенным бедной молодой страдальницей, но берег был тих, река мутна и пустынна, и их нелепые фигуры казались дикими изваяниями среди ранних сумерек...

Затем, продолжая умопомрачительную борьбу с темными силами природы, Мятлев и доктор Шванебах уселись в коляску и, отворотившись друг от друга, носились по городу, по всем полицейским частям, покуда наконец судьба не сжалилась над ними. (Но какая это была опять жестокая жалость!) Вдруг выяснилось, что в анатомический театр Мариинского госпиталя несколько часов назад свезли молодую утопленницу, тело которой было извлечено, «да, да, из Невки... Молодая особа благородного вида... да, да, длинные светлые волосы... да, стройна и весьма...».

Уже окончательно расшатанная и пропыленная коляска полетела к Мариинскому госпиталю, где пожилой оператор повел обоих мужчин к леднику. Трудно описать состояние, в каком князь Мятлев переступил порог этого мрачного логова. Он вошел, сделал шаг и остановился в полной прострации. Он пытался разглядеть, что лежит на деревянном топчане в углу помещения, но не мог разомкнуть век. Вдруг он услышал, как доктор Шванебах произнес с облегчением: «Я так и знал, так и знал. Это не могла быть Александрина». Мятлев чуть не зарыдал и сквозь пелену набежавших слез увидел на деревянном топчане полуприкрытое рогожей тело давешней утопленницы.

– Ну вот, – сказал доктор Шванебах, когда они уселись в коляску, – вам бы следовало мне верить. Психическое состояние Александрины было еще не настолько плохо, чтобы она могла решиться... Молодой организм, знаете ли... – и уставился на князя.

– Да, конечно, – сказал Мятлев, уязвленный спокойствием саксонца. – Но что же с ней стряслось?

– Гадать – не моя профессия, – проговорил доктор. – Тут я бессилен. Но полагаю, что худшее позади... – И он с достоинством улыбнулся. – Вам бы, однако, не следовало медлить тогда, в те дни, когда у вас все было еще хорошо... Да-с, вот так... А теперь что ж.

– Но Александрина... – всхлипнул Мятлев, – она побежала к реке... она побежала к Невке... через парк... она плакала...

– Еще бы, – ответил господин Шванебах с профессиональным спокойствием, – я этого и не отрицаю. По всей вероятности, ее тело зацепилось за что-нибудь под водой... Но мы бессильны, ваше сиятельство...

## 25

Прошло несколько месяцев. Началась зима. Реки остановились.

Мой князь после всего происшедшего искал забвения где только мог: пустился было во все тяжкие по старой памяти, прибившись к прежним своим соратникам по шалостям и шалопайству, но вскоре отошел от них, ибо нельзя человеку дважды вступать в один поток, хотя он все же успел добавить к печальному своему послужному списку не одну нашу-мевшую историю, не раз возмутив и огорчив окружающих и даже самого государя. Затем, не найдя в том забвения, отправился в свою Михайловку, где нашел хаос и запустение, устроил нагоняй ленивому управляющему, хотя сам нагоняй был также ленив и беспомощен, побродил в одиночестве по заснеженным лесам, поскучал в обществе одичавших и несносных соседей, вдруг пристрастился к писанию различных историй, иногда из собственной жизни, но чаще придуманных, достиг в этом даже некоторых успехов, внезапно почувствовал себя лучше, спокойнее и воротился в Петербург.

Тут снова с чудовищной изысканностью встретил его круглолицый Афанасий, напавший по случаю приезда князя поношенный цилиндр, и несколько притихшая рыжеволосая Аглая испуганно улыбнулась ему, оправляя все то же пурпурное платье. И снова знакомые вещи и стены подступили к глазам, напоминая не только о былых обидах, но и о минувших празднествах. Все уравнилось, улеглось, утихло. Однако это, очевидно, лишь казалось, ибо если мы не осознаем кратковременности своего земного пребывания, то наша природа сама, на свой страх и риск, вынуждена руководить нами, заставляя нас все-таки совершить то самое, что определено нам свыше. И вот будто все улеглось, уравнилось, утихло, а на самом деле ничто не улеглось и ничто не уравнилось, а лишь усовершенствовалось, чтобы кружить, и мучить, и испытывать нас снова.

И потому, преодолев отвращение к длительным поездкам, в отчаянии ринулся он в Паспортную экспедицию выхлопотать себе разрешение на заграничную поездку, придумав укатить в Англию, а оттуда в Новый Свет, где иные берега, иные нравы, менее губительные, чем среди этих болот, но ему опять не повезло, ибо его решение совпало уже со вторичным отказом проклятого господина Головина вернуться в Россию, и потому резолюция, начертанная на его прошении, была холодна и недвусмысленна.

Наконец он вспомнил о моей благословенной теплой стране, голубоватой с рассветом и розовой на закате, и образ Марии Амилахвари восторженно вошел в его сознание как исцеление от скорбей, но силы уже оставили его, и он махнул рукой, позволяя провидению поступать как ему заблагорассудится.

Без внутреннего содрогания, с легкой грустью прошелся Мятлев по комнатам второго этажа, успевшим покрыться пылью и растерявшим ароматы свежих кож, и дерева, и красок. Это были отличные комнаты, еще недавно сооружаемые с любовью для жизни, но которые теперь напоминали всего лишь добротнo сработанные, живописные полотна, где тщательно выписана и продумана каждая мелочь, но в которых невозможно поселиться.

Грустью пустыни веяло от этого холодного жилья, не будя воспоминаний, ибо нога Александрины не ступала по этим прекрасным и обновленным полам и руки ее не касались столь же прекрасных молчаливых предметов.

Побродив по комнатам и не найдя в них отклика своим чувствам, Мятлев велел заколотить и эти двери, чтобы не возвращаться в прошлое.

Снова все тот же *persiflage*.

Однако прошлое, как бы оно ни отдалялось, живет ведь в нас, ибо оно и есть наш злополучный опыт, который и придает нам сознание нашего исключительного значения и ощущение нашего удивительного ничтожества и делает нас людьми. И это прошлое обожает

иногда являться к нам в различных обликах, чтобы напомнить о себе легким прикосновением и помешать нам окончательно свихнуться от нынешних удач и от нынешних страданий.

Да, так вот, стоило лишь Мятлеву воротиться в Петербург по первому снежку к своим пенатам, стоило лишь избавиться от страшных воспоминаний, заколотить лишние двери, взять в руки остывшую было книгу с описанием чужих трагедий и чужих страстей, как Афанасий доложил, что госпожа Шванебах умоляет принять ее по неотложному делу.

Ничего не подозревая, он велел Афанасию впустить к себе супругу странного эскулапа, приготовившись к лицемерию толстой самоуверенной немки, и был поражен, увидев перед собой еще довольно молодую, изысканно, с тонким вкусом одетую женщину, такую же голубоглазую, как и ее супруг, с целым выводком таких же голубоглазых, как и она сама, мальчиков с крепкими шеями и мощными затылками, которые поклонились князю с благопристойным достоинством.

После всевозможных извинений и необходимых при встрече фраз, после выражений всяческих соболезнований по поводу летнего происшествия, что Мятлев воспринимал вполуха, она сказала:

– Дело в том, ваше сиятельство, что доктор Шванебах покинул нас... Да, да. Нет, это случилось не нынче, я бы не стала вас обременять, мало ли что случается в жизни между супругами... Ах, да совсем же, совсем... И не нынче, а тогда, в тот раз, именно сразу же за той печальной историей, после которой и вы сами, ваше сиятельство, в скором времени покинули Петербург. Я понимаю, как это было, наверное, невыносимо после всего, что произошло. Я не имела чести знать ту женщину, но господин Шванебах всегда так обстоятельно делился со мной своей работой и так всегда рассказывал о своих делах, что я ощущала себя знакомой с той женщиной и искренне сочувствовала и ей, и вам, и господину Шванебаху, ибо он крайне нервничал и дошел до полного душевного истощения за время болезни той женщины. Когда же случилось это, а об этом я узнала от господина Шванебаха, я, зная о его привязанности к той женщине, ожидала переживаний, даже слез, наконец, нервного оцепенения, как это бывает, но случилось то, к чему я никак не была готова, а именно – доктор Шванебах был совершенно спокоен, словно ничего не произошло, слегка рассеян, что на него не походило, и очень деловит. Мне показалось, что он даже несколько помешался в рассудке, и я, и мои мальчики всячески за ним ухаживали, чтобы успокоить его, потому что если бы он, ваше сиятельство, поплакал, то этого с ним не случилось бы, но он никогда не плакал и, видимо, напряжение ударило в голову... Так я предполагала, ваше сиятельство, и не отходила от него, ибо сильные люди в отчаяние готовы на самые решительные поступки... И вот, ваше сиятельство, он все-таки сумел как-то ускользнуть от нас и исчез...

«Бедный доктор, – подумал Мятлев, – как было велико его отчаяние, если он смог наложить на себя руки и оставить таких мальчиков и такую прелестную супругу».

– Да, в нем было что-то лихорадочное последние дни, – сказал он с участием, – я помню... Я помню, как он распалялся, накаливался, странно говорил, и вообще я помню, какой он был... Да, я помню, я теперь понимаю, отчего он так отводил глаза, когда говорил со мною, и как он нервничал и, когда ее выслушивал и выстукивал, как он при этом обреченно к ней склонялся, как будто он там что-то такое про себя уже наметил втайне...

– Так вот, ваше сиятельство, – продолжала госпожа Шванебах, не слишком внимая князю, – он исчез. Я была в отчаянии, мои мальчики сбились с ног, отыскивая его самого или хотя бы его тело, ведь в таком состоянии сильный человек способен на все, но все наши поиски оставались безуспешными и скорби нашей не было границ, как вдруг, ваше сиятельство, я, окаменевшая от горя, обнаружила, что вместе с господином Шванебахом исчезли некоторые вещи, без которых он никогда не обходился. Это были такие вещи, которые не берут с собою, если решаются расстаться с жизнью. Это был не носовой платок, ваше

сиятельство, который можно унести в кармане, и не табакерка, и не кошелек с мелочью... Ну-ка, мальчики, перечислите предметы, которых мы не обнаружили...

– Английская бритва со всеми бритвенными принадлежностями, – сказал первый мальчик вполголоса.

– Это была отличная бритва, подаренная господину Шванебаху его старшим братом, которую он очень дорожил, – пояснила госпожа Шванебах. – Дальше...

– Несколько пар хорошего голландского белья, – доложил второй мальчик.

– Видите? – сказала госпожа Шванебах. – Четыре пары!..

– Два больших медицинских справочника по восемь фунтов каждый, – сказал третий.

– Ну вот видите? – развела руками госпожа Шванебах. – Шестнадцать фунтов бумаги!.. Не слишком ли много для утопленника? – и прищурила свои голубые саксонские глаза.

– Еще плед, – сказал первый мальчик.

– Да, еще плед, – встала госпожа Шванебах. – Это был его любимый плед, – и она горько засмеялась. – Было бы странно, если бы он ушел без него... Теперь вы видите? Ну, и наконец, он взял ровно половину наших денег... Когда я все это увидела, я поняла, что доктор Шванебах жив. Но что это все должно значить, ваше сиятельство?

Действительно, что бы это могло значить? А какое дело ему, Мятлеву, до исчезновения доктора Шванебаха, человека неопределенного, смутного, уже позабытого, позволявшего себе всяческие намеки, недомолвки; человека с мощной шеей, подпертой безупречным воротничком, распространявшего тошнотворное благоухание туалетной воды, плохо воспитанного и постороннего?.. Действительно, что бы это могло значить?.. Уж не значило ли это то, что доктор Шванебах, и не помышляя о смерти, просто улизнул от каких-то своих трудностей, своих сложностей к каким-то своим радостям, до поры сохраняемым в тайне?.. Да мало ли мужчин, бегущих прочь из рая, основанного ими же самими?.. Чего же она хочет?.. А может быть, этот изысканный саксонец пришел в ужас, увидев однажды себя самого в этих трех голубоглазых своих наследниках, педантичных и подчеркнуто благородных?.. Бедная Александрина!.. Как он замирал, слушая ее игру, и как он прижимал свое ухо к ее груди, когда она и не думала даже кашлянуть или задыхаться, и как он, прибегая по утрам, тотчас же прижимался к ней, ощупывал ее своими короткими сильными пальцами, обнажал ее плечи, грудь, откидывал одеяло небрежным жестом хозяина... Бедная Александрина!

– Ваше сиятельство, – по-деловому осведомилась госпожа Шванебах, – а вы сами видели тело той женщины? Или его так и не удалось обнаружить?.. Вы больше не предпринимали... вы не интересовались впоследствии... я понимаю, что оно могло зацепиться за что-нибудь, но ведь могло быть и так, что впоследствии... да, перед тем, как реке остановиться... Да, я понимаю, что сейчас лед толст, конечно... Но если бы вы при ваших связях похлопотали о поисках этого тела... Вы знаете, ваше сиятельство, я подумала, что ведь могло быть и так... сохранил... спор... владений... документы... курительного табака...

Бедная Александрина. Он пообещает госпоже Шванебах все, что в его силах... Но что это даст? Он понимает ее состояние, разделяет ее горе, но что это даст? Уж если она обеспечена и ей не грозит нищета, что ей этот обезумевший саксонец, бежавший в неизвестность под сенью собственного пледа?.. Бедная Александрина...

Сначала Мятлев всеми силами старался сдержать данное госпоже Шванебах слово, пытался связаться с нужными людьми, но все как-то не удавалось, он откладывал, госпожа Шванебах не напоминала, затея показалась пустой, начала раздражать его, и он утомился.

## 26

«...но этого ему было мало. Он подобрал на улице подозрительную девицу, пообещал сделать ее княгиней Мятлевой (как титулы обесценились!), всячески по своему обыкновению надругался над нею, а затем отвернулся.

Несчастное создание утопилось, а он как ни в чем не бывало продолжает злодействовать, всячески пренебрегая общественным мнением.

Известный своими антиправительственными взглядами князь Приимков, несмотря на положительный запрет посещать столицы, прокрадывается в Петербург и останавливается, у кого бы Вы думали? Да все у него же, у этого человека.

Слуга этого человека появляется на улице в вечернее время в самом предосудительном виде: в шляпе черт знает какого фасона, в валяных сапогах и в манишке, пугая тем самым приличную публику...»

*(Из анонимного письма министру двора его величества.)*

## 27

Как-то, когда морозный день склонялся к сумеркам, а сумерки в зимнем Петербурге кратковременны и сизы, за чугунной оградой вновь возникла знакомая фигура в длинном пальто и башлыке.

Фигура эта возникла, как и в прошлый раз, внезапно, напоминая праздным жителям земли, что общество бодрствует и о них печется. Не позволяя себе ничего непристойного, господин в башлыке совершал свой медлительный моцион, покуда наконец Мятлев, сгорая от любопытства, не вытолкал упирающегося Афанасия прогуляться по морозу.

– Ваше сиятельство, – сказал Афанасий, натягивая валенки и нахлобучивая цилиндр, – я, если позволите, не против того, чтобы погулять, да ведь этот народ шутить не любит, ваше сиятельство...

И, торжественно переставляя кривые ноги, мнимый господин Труайя отправился заключить в объятия своего мнимого соседа. Однако случилось так, что человек в башлыке на этот раз вел себя значительно натуральнее, без опаски и, не дожидаясь намеков со стороны Афанасия, сам приступил к делу, пожаловавшись на мороз и ветер. Афанасий, обрадовавшись возможности спастись от утомительного и холодного гулянья, не замедлил пригласить его в дом. И Мятлев увидел, как восхитительная парочка проследовала на крыльцо.

Камердинер поил гостя чаем, угостил ромом, но, как ни старался, гость ко второй рюмочке не притронулся. Отрекомендовался он Свербеевым, сообщил, что служит по ремесленной части. Афанасий дал ему лет сорок – сорок пять. У него было морщинистое обветренное лицо, маленькие печальные глазки и такие же печальные свисающие усы. Разговор шел ненавязчивый и пустой – о ценах, о погоде, – и Афанасию, как он докладывал утром Мятлеву, хотелось зевать, да и только, если бы гость, как бы между прочим, не обмолвился о летнем происшествии и если бы, уже уходя, не выразил удивления об образе жизни князя.

– Что же его удивило? – спросил Мятлев.

– А вот что, ваше сиятельство, – сказал Афанасий. – Как же это так, говорит он, князь ваш, если позволите, одиноко живет? Наверное, у него и друзья такие же одинокие все?.. Что ж, он так все и читает, и читает?.. Да, говорю, представьте... А к нему, говорит, из провинции, например, не заезжает никто? Или еще откуда-нибудь?.. Нет, говорю, не заезжают... Что ж это он, говорит, так все и читает, и читает? А потом говорит: конечно, князь... чего ж ему не читать... А когда уходил, спросил: может, говорит, из Тульской губернии кто приезжает? Да что вы, говорю, почему из Тульской?.. К примеру, говорит.

Могучий дух бессильного хромоножки витал над Петербургом. Это он заставлял печального господина Свербеева совершать предосудительные моционы, превосходя все возможные нормы пребывания человека на холоду, и он приводил поручика Катакази в трехэтажный деревянный княжеский дом, пользующийся сомнительной репутацией, где поручика не пускали дальше вестибюля, терзая его амбицию, и это он, этот дух, вынуждал натягиваться, дрожать и звенеть тонкую крепкую и невидимую ниточку, связывающую имение хромоножки со штабом всероссийских следопытов, по которой определялись настроения и поползновения опального князя.

Что заставляло этот совершенный механизм прислушиваться так напряженно: а нет ли предосудительных звуков среди его колесиков, смазанных с умопомрачительным расчетом и старанием? Ведь волна, всплеснувшаяся однажды на Сенатской площади, давно утихла, и Герцен проживал в изгнании. И орды тупых немых студентов с отвращением истинных верноподданных открещивались ото всего, что могло бы смутить их дух, и пели свои несуразные гимны во славу чревоугодия и безобидных для государства шалостей с продажными женщинами. И уж больше ничего не оставалось мало-мальски стоящего пресечения,

и, наверное, потому на фоне общего благоденствия могучий дух бессильного хромоножки казался более угрожающим, чем тайные заговоры минувших времен.

А мой князь? Ему-то что за дело было до всех этих сложностей своего времени? Да и не сложностей даже, а ухищрений, годных, пожалуй, лишь на то, чтобы приниженное ровное течение жизни не нарушалось ни вздохами, ни словами и ни поступками. Да что он и мог-то? Он знал, что ничего, а потому и не требовал себе пьедестала. И с грустной усмешкой сравнивал себя со студентами, ибо если они пели гимны чревоугодию, то и он пел, хоть его стол отличался большим обилием, и если они, не желая умерщвлять свою плоть, обнимали своих немых женщин, то ведь и он тоже, хоть его дамы иногда были утонченней и от них не пахло клопами и сыростью. Он так и вступил в сознательный возраст, не помышляя о больших возможностях, даже будто не подозревая об их существовании, и, угождая общему благополучному уровню, даже не прослыл консерватором. И только внезапная усмешка озаряла его вытянутое лицо, когда он слушал пространные и чудовищные рассуждения Андрея Владимировича, ибо соглашаться с хромоножкой – значило причислить себя к пустым говорунам, а обосновывать свой скепсис было бесполезно.

Бушуйте, изрыгайте проклятия, похваляйтесь своим безрассудством, а машина будет монотонно гудеть, перемалывая вас вместе с вашими фантазиями, и неведомая вам сила будет вас увлекать за собою вместе с другими счастливыми туда, туда, куда ей надобно, куда она желает. Она растоптала уже всех дерзких поэтов и всех молодых офицеров, поверивших было в самих себя, и бедную Александрину, как она ни противилась и как ни стучала маленьким кулачком по колену, и господина Шванебаха, и многих других, и многих других...

Ну, допустим. И все же уподобление червю, тому дождевому, розовому, мягкому, – это ли наш удел? Вот в чем вопрос... Душа, как и тело, должна быть упругой и неподатливой... Ах, князь, не слишком ли ты обмяк!..

...И все было именно так, как вдруг из заиндевеливших зарослей опять потянулись к дому торопливые маленькие лукавые следы. Кого бы, вы думали?.. Они стремительно пересекли лужайку, потоптались за кустами роз, замерли на мгновение и тут же посыпались, как из рога изобилия, выстрелили по заснеженной веранде, обогнули дом и устремились к крыльцу.

– Вас спрашивают, – зашептал Афанасий, изображая на круглом лице подобие улыбки. И распахнул двери.

– Господи, – удивился Мятлев, – это вы?

– Вот вам и господа, – засмеялся господин ван Шонховен, пунцовея, – а вы думали... кто же?

Мальчик заметно подрос за долгую разлуку. На нем был все тот же армячок, но постаревший и укоротившийся, все те же черные валенки и шапочка из малинового сукна. И удлинившиеся худенькие ручки тянулись вдоль тела, словно маленький солдатик собирался отпартовать о своем счастливом прибытии. Темно-русые волосы самоуверенно выбивались из-под шапочки, большие серые, удивительно знакомые глаза открыто изучали князя.

– А вы все в том же халате, – сказал мальчик, – будто и не снимали, – и уселся в кресло, и поболтал ногами. – Мы с татап успели за лето побывать в Италии, – сообщил он, – в Риме и Генуе, и купались в море. Затем мы обосновались у нас в деревне, думали там провести всю зиму, но мои слезы... – он засмеялся, – и татап, для которой деревня – ужас, а она решила там сидеть, чтобы проучить Калерию, это моя тетка, длинноносая пигалица, но мои слезы, и бледный вид и страдания, – он снова засмеялся, показывая ровные белые зубки с детскими зазубринками по краям, – эй, запрягайте лошадей, да поживее, да несите вещи, да пеките пироги!.. За нами волки бежали, – сообщил он, тараща глаза, – вам не страшно? Правда, правда, четыре облезлых волка, и мы им скормили кучу хлеба и костей... Страшно,

да?.. У-у-у, татап ругала меня всю дорогу, а у меня в голове было одно: приезжаем, и я бегу через парк к вам... Вы рады? – и снова запунцовел.

– Давно ли вы приехали? – спросил Мятлев, радуясь появлению господина ван Шонховена. – И как хорошо, что вы ко мне прибежали... Ах, третьего дня?.. Надо было бы сразу, сразу. Как приехали, надо было бы сразу ко мне...

– Легко сказать, – засмеялся господин ван Шонховен, – сразу... Тут нужно было подготовиться, сударь, все учесть, взвесить... сразу. У мадам Жаклин, у моей гувернантки, вдруг начался жар, прямо с неба свалился, такая удача... сильный жар... инфлуэнца... Надо было пошарить в сундуке, куда же этот проклятый армяк запропастился?.. «Ты что это там ищешь?..» – «Ах, татап, здесь ленточка была...» – Он вдруг потупился. – Конечно, мне бы следовало известить вас, а не врываться без предупреждения, да что поделывать, князь?..

– А теперь, господин ван Шонховен, – сказал Мятлев, – раздевайтесь, устраивайтесь поудобнее. Надеюсь, беседа не оскорбит вас. Я велю подать чаю...

– Э-э-э, что за глупости, – рассердился мальчик, – вечно вы с какими-то церемониями... Далась вам моя одежда. Мне и так хорошо... Впрочем, ежели это вас шокирует, извольте, – и господин ван Шонховен стянул с головы малиновую шапочку и резко швырнул ее в угол. – Извольте, коли так, – и темно-русые волосы рассыпались по плечам.

Мятлев рассмеялся и велел подать чаю и, пока распоряжался, поглядывал на господина ван Шонховена краем глаза, мучительно соображая, кого же ему напоминает это худенькое произведение природы.

– А я был бы рад получить от вас письмо, – сказал он. – Что ж вы не решились?

– А о чем писать-то? – засмеялся мальчик. – Выезжаю – встречайте? Да?.. Представляю удивление татап, когда б она узнала, что я пишу в а м... Как, отчего? Да оттого что я никому не пишу, а тут вдруг пожалуйста... – сказал господин ван Шонховен, попадая рукавом в варенье. – Ну вот... – расстроился он и принялся вытирать рукав салфеткой, – о вас и так всякие разговоры, и вдруг я вам пишу...

– Господин ван Шонховен, – сказал Мятлев, мрачняя, – ежели общение со мной расценивается как предосудительное, то вам бы не следовало...

– Да, может, лестные разговоры, – забормотал мальчик смущенно, – может, вовсе и не предосудительное... почему вам знать? – и снова влез в варенье, и снова смешался.

– Снимите этот армяк, ради бога! – взмолился Мятлев. – Чего зря мучиться?

Господин ван Шонховен, не подымая пунцового лица, торопливо и послушно скинул армячок, швырнув и его куда-то, и остался в подобии гусарского мундирчика, очень ему идущего, и вновь уткнулся в чашку.

«Ба! – подумал Мятлев. – Что такое? Что такое?..»

Действительно, что-то такое вдруг произошло, что-то изменилось непонятным образом в облике господина ван Шонховена, в том, как он наклонился над чашкой, сужая худенькие плечи, и темно-русые волосы хлынули, скрыв пунцовое лицо, когда он поднес чашку к губам.

– А знаете, – сказал Мятлев, ничего не понимая, – я ведь вспоминал о вас, ей-богу, у меня даже в дневнике есть об том запись. Вот видите, как я помнил о вас...

– Э-э-э, – сказал мальчик, – будет вам, сударь, утешать меня. Я не ребенок.

Конечно, господин ван Шонховен заметно повзрослел. Это бросалось в глаза при первом же взгляде. Не только рост, но и осанка, и жесты, и манера изъясняться, что так свойственно мальчикам в пору созревания, когда они начинают осознавать себя маленькими мужчинами и пытаются под небрежностью интонаций скрыть рвущуюся из глубин непосредственность, – все это говорило о том, что господин ван Шонховен перевалил известный рубеж и теперь ему предстоит, освободившись от детских пут, отшвырнув их от себя, как шапочку малинового сукна, приобщаться к главной жизни, спотыкаясь, падая и поды-

маясь вновь, ибо все, что было, оно как бы не было вовсе, и считаться с ним смешно и стыдно, тем более перед лицом предстоящего. Конечно, господин ван Шонховен заметно повзрослел, и все-таки не это, не это теперь заботило Мятлева, поглядывавшего на мальчика украдкой. Что-то такое произошло, что требовало объяснения, а что, понять было невозможно. Оно ускользало, вырывалось, таяло в руках и в сознании, словно первый ненадежный снег. И Мятлев усиленно старался распутать клубок, слушая торопливый рассказ господина ван Шонховена о вчерашнем утреннике в одном доме, где он впервые танцевал и где в первом же танце ему достался толстый и скучный четырнадцатилетний мальчик и как это все было с первой минуты весело и «даже захватывало дух», но потом господин ван Шонховен «заскучал, заскучал», ибо все девочки были жеманны и несносны, а мальчики «глупы и ленивы и задавали дурацкие вопросы»... Потом пили чай со свежими булками и свежим маслом, «очень вкусно», и было много конфет и лотерея, но господину ван Шонховену все это «безумно надоело», и он потребовал, чтобы «несносная Калерия» увезла его домой...

– Когда бы вы там были! – вздохнул господин ван Шонховен.

Тут он отставил пустую чашку и размягченно откинулся на стуле, изображая сытость и довольство. Да, но кого он напоминал при этом, тонкими ручками оправляя непослушные темно-русые волосы, ниспадающие на узкие плечи, широко распахивая серые глубокие глаза, расточающие мягкий свет? Нет, он не наш, он из другой страны, Эолов сын, погруженный теперь в созерцание неуклюжего шедевра, повисшего перед ним на стене, или делающий вид; танцевавший вчера на детском балу, где девочки были несносно глупы и жеманны... да неужели все?

– Ну да, одна несноснее другой, – подтвердил господин ван Шонховен, – уж будто вы не знаете. Уж вам ли не знать... Все – маленькие калерии... и маленькие тапан.

– И вам ни одна из девочек не понравилась? Да вы Синяя Борода, господин ван Шонховен!

– Когда придет весна, – сказал мальчик, с трудом сдерживаясь, чтоб не рассмеяться, – давайте отправимся вместе смотреть, как на большой Неве ломается лед?..

Да, это будет чудесная прогулка, если, конечно, не помешает Калерия или какая-нибудь мадам Жаклин, но неужели это возможно, чтобы господину ван Шонховену не понравилась ни одна девочка? Он помнит, что когда ему самому было... э-э-э?

– Тринадцать, сударь, тринадцать...

...да, когда ему было тринадцать, он не был Синей Бородой и любил дарить девочкам, ну, например, цветы, и он защищал их от посягательств всяких толстых и наглых мальчишек... и...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.